АЛЕКСАНДР ШКЛЯРЕВСКИЙ

РАССКАЗ СУДЕБНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ

Литрес

Призвание – сыщик! Лучшие детективы

Александр Шкляревский

Рассказ судебного следователя

«Public Domain»

1872-1875

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шкляревский А. А.

Рассказ судебного следователя / А. А. Шкляревский — «Public Domain», 1872-1875 — (Призвание – сыщик! Лучшие детективы)

ISBN 978-5-17-150362-8

Русский дореволюционный детектив («уголовный роман» – в языке того времени) совершенно неизвестен современному читателю. Данная книга, призванная в какой-то степени восполнить этот пробел, включает романы и повести Александра Алексеевича Шкляревского (1837–1883), который, скорее чем кто-либо другой, может быть назван «отцом русского детектива» и был необычайно популярен в 1870–1880-х годах.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-150362-8

© Шкляревский А. А., 1872-1875
© Public Domain, 1872-1875

Содержание

Что побудило к убийству? 6
Рассказ судебного следователя 40
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Александр Шкляревский
Рассказ судебного следователя (сборник)

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Выпуск произведения без разрешения Издательства считается противоправным и преследуется по закону

Что побудило к убийству? Рассказ следователя

1

Происшествие, которое я хочу вам рассказать, случилось в Петербурге, в 186* году в сентябре, отличавшемся в тот год необыкновенными жарами, так что петербуржцы заставили свои окна двойными рамами лишь после Покрова. Я жил в то время в chambres garnies[1] на Вознесенском проспекте. Квартира моя состояла всего из одной комнаты, разделенной на две части тяжелыми драпри[2]. Одна половина составляла кабинет, залу, гостиную, словом, все, что хотите, другая, за драпри, – спальню. Ночь под шестнадцатое сентября я промучился страшной бессонницей и заснул только в девять часов утра, когда прислуга уже распорядилась подать мне самовар; но и здесь мне не удалось подремать порядком: кто-то сильно стал стучать в мою дверь, против чего коридорный попытался робко протестовать замечанием, что я целую ночь не спал.

– Ничего… По очень нужному делу, – отвечал на это мужской голос и непосредственно отнесся ко мне: – Господин следователь, отопритесь!

Делать было нечего: я встал, отпер дверь и очутился лицом к лицу с полицейским приставом, мужчиною высокого роста, с большими русыми бакенбардами, одетым в полную форму.

– Сделайте милость, извините, что обеспокоил, – сказал он, – будьте добры, одевайтесь и поедемте сейчас со мною. В вашем участке случилось важное преступление… В квартире полковника Верховского совершено убийство…

– Верховского? На углу Петровской и Павловской улиц? – спросил я с особенным изумлением, так как семейство Верховского было мне знакомо.

– Так точно, – отвечал пристав.

– Кто же убит?

– Он сам…

– Как, каким образом?

– Ничего не знаю… Я видел только труп… Поедемте…

Я поспешил наскоро одеться, и мы отправились.

2

Улицы Петровская и Павловская, носящие теперь другие названия, принадлежат к одним из многолюдных в Петербурге. На углу их, в доме под № 29/17, в бельэтаже, занимал обширную квартиру, со множеством комнат и роскошной меблировкой, отставной уланский полковник Валериан Константинович Верховский, человек с состоянием, заключавшимся в наличном капитале и поместьях в разных губерниях. В этой квартире, кроме него и жены Антонины Васильевны, женщины за сорок лет, бледной, с чахоточным румянцем, но сохранившей следы замечательной красоты и казавшейся, как сильная блондинка, гораздо моложавее, – жили в качестве ее компаньонок две женщины: одна – белокурая, лет тридцати, Авдотья Николаевна Кардамонова, другая, моложе ее лет на шесть, – француженка, с черными жгучими глазами, Жозефина Францевна Люсеваль. Обе они были в своем роде красивы. У каждой из дам была

[1] Меблированные комнаты (фр.).

[2] Драпри – занавеска, портьера.

своя горничная, а у Верховского – старик камердинер, служивший ему с самого детства, из крепостных, испытанной преданности к своему барину. Все эти лица имели ночлег при господах в бельэтаже. К ним еще следует присоединить казачка, превратившегося по летам в лакея, который спал в передней. Остальная прислуга, состоявшая из другого лакея, кучера, повара и мальчика, помощника его, помещалась особо, в обширной кухне, служившей также и людскою, во внутреннем флигеле. Швейцар обыкновенно был на своем месте только до вечера, а затем, если семейство хозяина, жившего в первом этаже, было дома, он отправлялся на покой, а чтобы не беспокоить себя отпиранием дверей прочим жильцам второго и третьего этажа и их гостям, оставлял подъезд целую ночь незапертым.

Когда я и пристав подъехали к дому, где жил Верховский, у подъезда уже стояли два городовых, околоточный надзиратель и небольшая кучка любопытных, вероятно узнавших о происшествии в доме, которых полицейские упрашивали «честно и благородно» разойтись. Мы поднялись быстро по витой чугунной лестнице в бельэтаж. Входная дверь к Верховскому, украшенная медной дощечкой с его именем, отчеством и фамилией, была слегка приотворена, и пристав отворил ее без звонка. В передней царил какой-то странный беспорядок; прислуги не было, и только стоял один городовой, но едва мы вошли в залу, послышались шаги и оттуда показались вытянутые и бледные лица лакеев, горничных и прочей домашней челяди; за ними показался и камердинер Прокофьич. Старик был взволнован, сумрачен, осунулся весь, с красными воспаленными глазами от пролитых слез. Не снимая пальто, пристав пошел вперед чрез залу, из которой направо шла дверь в кабинет, где случилось происшествие. Там мы застали полицмейстера, врача, помощника пристава и фельдшера. Удивительно, как при уголовных следствиях самые простые и обыкновенные вещи принимают какой-то странный вид. Так, проходя залу, мне показалось, что и зеркала, и рояль, и кресла смотрели на меня иным взглядом, чем прежде, таинственным и загадочным… Каждая вещица в кабинете как бы говорила мне: «Я была свидетельницею преступления; убийца входил со мною в сношения; я знаю тайну, но не скажу и буду смотреть на тебя так таинственно и сурово, пока ты сам в нее не проникнешь…» Возьмем для примера нож, гвоздь, стакан… Сегодня эти вещи для нас имеют одно лишь свое прозаическое значение, но если завтра какая-либо из них послужит орудием к смерти, то она уже возбуждает в нас нечто тревожное… Кабинет Верховского служил ему также и спальней. Это была четырехугольная комната, с драпри, за которыми находилась кровать; на стене за нею висел богатый персидский ковер, с развешанным на нем оружием.

Кровавая картина представилась мне, когда я вошел в кабинет! Драпри было приподнято вверх, и на полу, около кровати, на подножном ковре, широко пропитанном целою лужею крови, в особенности там, где было туловище, лежал закутанный в одеяло труп Верховского, в таком положении, как будто он упал набок и затем опрокинулся лицом кверху. Тут же, на полу, у головы его, валялась упавшая с кровати подушка, но без следов крови. Верховскому было за пятьдесят лет, но он был очень свеж и здоров, красил волосы на голове, на усах и бакенбардах и имел вид красивого, сильного сорокалетнего штаб-офицера. Теперь лицо его не выражало прежней молодцеватости, оно сразу постарело, сделалось желтым, рот скривился направо к скуле, исказив щеку, что, при полуоткрытых больших серых недвижных глазах, придавало физиономии выражение ужаса. Между тем голова склонилась бессильно к плечу, хотя одна рука, приподнятая к ключице, сжимала кулак, левая же спустилась ниже груди, к глубокой ране. Кинжал лежал по левую сторону трупа. Лезвие его, по анатомическому исследованию, проникло в самое сердце. Все белье около раны было смочено кровью, которая стала запекаться и вместе с рубашкой присыхать к телу. На постели, а именно на простыне, кровь видна была с двух сторон, или, если вообразить на ней лежащего человека, то с двух боков: с левой, к стене, она шла брызгами, как будто полилась фонтаном, с правой, к спуску простыни с кровати, – большое пятно и от него, ровной полоской, – ручеек к полу. Это заставляло предполагать, что удар нанесен был на кровати и в тот же момент тело или упало, или было сброшено на пол. Но

убийство не могло быть совершено из каких-либо корыстных видов, так как не было сделано ни малейшего денежного или какого-либо другого похищения. В ушах моих звучал вопрос: «Кто был убийца?» Затем промелькнула мысль: «Не сам ли Верховский покончил с собой?» Однако положение трупа, доводы врача и собственные соображения, в связи с некоторыми данными, вскоре заставили совершенно отвергнуть последнее предположение. Приступая к составлению судебно-медицинского акта об осмотре трупа и положении, в каком он найден нами, я пригласил жену Верховского и ее компаньонок присутствовать при этом и подписать акт. Все эти женщины вошли вместе; они были мертвенно бледны и в сильном испуге; более других казалась взволнованною француженка, вся трясшаяся, как в лихорадке; менее других – Кардамонова: глаза и вся ее физиономия выражали более удивление, чем испуг. Что же касается самой Верховской, то, если б ее не поддерживали компаньонки, она едва ли бы была в состоянии войти в комнату, до того женщина эта была слаба и убита горем. Я, разумеется, сейчас же усадил их, предложив Верховской самое покойное место. Лицо ее было крайне болезненно, и по нему шли какие-то странные пятна, не то подкожные от ударов, не то царапины; щека была широко повязана белым носовым платком. Кончив осмотр трупа, белья, постели и ковра, я приступил к осмотру комнаты, и здесь мое внимание было привлечено, во-первых, ножнами, висевшими на ковре, которые пришлись совершенно по мерке к кинжалу, послужившему орудием к убийству, а во-вторых, более важным обстоятельством: от ковра по полу виднелись чуть заметные пятна, уничтожившие лоск натертого воском паркета, вроде следов от мокрой обуви. В ближайших пятнах к ковру врач нашел осадки крови; следы вели к двери в залу и продолжались до гостиной, где исчезли, – вероятно, по случаю разостланного в этой комнате ковра; далее их не было найдено нигде, несмотря на тщательный обыск по всей квартире.

«Но, – рассуждал я, – если осадки крови остались на следах, то кровяные пятна должны быть и на обуви? Не отыщу ли я их на ком-либо из домашних?» Я тотчас же решился приступить к следствию и сделать всему и всем самый строжайший осмотр, хотя бы на это я должен был употребить двое суток без отдыха.

– Кто первый увидел убитого? – спросил я присутствовавших.

Вопрос этот остался на несколько минут без ответа. Я повторил его.

– Он, – проговорила француженка, указывая на камердинера.

– Вы?

– Д-д-да… я-с, – ответил старик с замешательством. – Извините, я недослышал… Глух.

Этот недостаток отвечавшего был мне известен.

Я попросил дам удалиться в гостиную и ждать своей очереди, пока я сниму показание с камердинера. Они удалились.

3

– Как вы узнали о несчастном происшествии? – спросил я Прокофьича, когда мы остались одни.

– Всему виною Филипп, – отвечал он.

– Какой Филипп?

– Дежурный, что спал в передней. Ну, как-таки, молодой малый – и ничего не слышал! Уродит же Господь Бог такое создание! Хоть ты из пушек пали, спит как мертвец. Чистая анафема! Прости мое, Господи, согрешение.

– Сами же вы где спите?

– Тут, у барина за стеной. Эта сонетка[3] ко мне проведена. Рядом комната, первая дверь из залы налево, в коридоре. Да из меня толку мало. Я уже осьмой год туг на оба уха. И то сказать,

[3] Сонетка – комнатный звонок для вызова прислуги, приводимый в действие шнурком.

пора: ведь семь десятков с годом. Покойник Константин Иванович изволили приставить меня к Валериану Константиновичу, когда они в ту пору второй день как на ножках ходить начали, а я уже был парень рослый… И странная это глухота… Иной раз при мне кто нарочно что скажет, чтоб я не услышал, – все слышу; иной – Валериан Константинович еле докричатся…

– Как вы узнали, что он мертв?

– Вот как было дело. Просыпаюсь я сегодня часов в семь, а у самого щемит да щемит чего-то сердце… Думаю себе, что бы это означало? Однако умылся, помолился Богу и стал ставить самовар. Валериан Константинович, хотя уже в супружестве больше двадцати семи лет, но чай с барыней никогда не пьют, так, значит, приучили себя с детства, а потом с первых же дней женитьбы, оттого что барыня просыпалась часу в десятом, а им – в девять часов чтоб самовар был уже непременно на столе. Только сегодня, гляжу, стрелка уже к девяти подвигается, а звонка нет. Что бы это такое, думаю. Заспался, должно быть; отнести-ка самовар. Взял подносик под мышку и только нагнулся к самовару, как слышу, будто дверь отворилась… Глядь – стоит передо мной француженка. Бледная такая! Должно быть, она первая увидела…

«Что с вами, – спрашиваю, – барышня? Чего так рано проснулись, всегда спали часов до двенадцати?» – «Ничего, – говорит, а сама дрожит! – Тебя, – говорит, – кажется, барин звал. Иди к нему. Отчего ты до сих пор не подаешь самовар?» – «Это, – отвечаю, – мое дело».

Вхожу, смотрю, барин лежит на полу, как видели. Тут я, известное дело, страшно испужался, чуть не обронил самовар, крикнул… Вслед за тем сейчас же прибежал Филипп, далее француженка, Авдотья Николаевна; Филька махнул оповестить и в кухню; сбежался народ… Антонина Васильевна пришли уже опосля…

– Кто же, вы думаете, убил Валериана Константиновича?

– Поистине, – отвечал старик, – знать не знаю, ведать не ведаю. Не хочу на душу греха брать. Не было у него никаких таких врагов. Покойник были, царство ему небесное, характера вспыльчивого, но добрые, сущий ангел. Один только и был за ними грех – до прекрасного пола очень неравнодушны. Да и как посторонний к нам заберется? Двери вчера на ночь я запер, хоть очистительную присягу приму, и парадный, и черный ход… Притом Филька хоть и спит крепко, а все бы услышал, если б двери ломали, замки же целы; к черному ходу – девичья, и все девки налицо; ночью, говорят, не вставали. Сказать бы, какая уходила за чем-либо другим, так попросила бы запереть за собою подругу. К тому же их на этот счет у нас нестрого держат, барыня добрая: попросись только с вечера и иди себе…

– Но разве из домашних никто не мог убить?

– Из домашних? Кто же? Не я же и не Филька? А то сами посудите: бабы… куда им!

– А что вы думаете о француженке?

– Это справедливо: точно, она, должно быть, первая увидела.

– В таком случае она входила в комнату к Валериану Константиновичу. Зачем же?

Вопрос мой смутил камердинера. Он переступил с ноги на ногу и тихо проговорил:

– Секретные дела были… Валериан Константинович хотя и разлюбил ее, да она все хаживала.

– Вы говорите, что барин ваш разлюбил ее?

Прокофьич кивнул головою.

– Не ревновала ли она его к кому-нибудь?

– Ни к кому. Была у ней ревность, да прошла: года четыре или пять назад, когда барин ухаживал за Авдотьей Николаевной.

Что ни вопрос мой, то семейная жизнь Верховского разоблачалась все более и более передо мною, становясь вместе с тем все запутаннее и грязнее.

– Теперь Валериан Константинович вновь сошелся с Кардамоновой? – предложил я новый вопрос, желая катехитическим путем[4] добраться какой-нибудь сути.

– Нет. С француженкой была у них любовь, а с этой, почитай, и не было. Так, с недельку занимались они ею, а далее поступила француженка, и бросили вовсе.

– Как же Авдотья Николаевна?

– Ничего себе.

– Барыня не ревновала?

– Нет. Допрежь огорчались, а потом махнули рукой, с тех пор как родился у Валериана Константиновича на стороне ребенок… Этому лет двадцать с лишним будет… Видят, что ничего не поделают.

– Где же вчера был барин? Доктор нашел, что он с вечера был, должно быть, выпивши.

– Были-с… Утром они уезжали к полковнику Филофею Дмитриевичу Кавеляеву, на именины. Там они пробыли до шести часов вечера и возвратились хмельны; но спать не легли, а только переоделись и опять поехали было из дому, сказав барыне, что едут по делу. И поехали: должно быть, ездили они к своей чухонке, да не застали ее дома, выпили с досады еще и возвратились домой злющий-презлющий… Часа полтора, два ездили – не более, потому не успел я сходить на кухню да в лавочку за табаком, как они тут как тут.

– Про какую чухонку вы говорите? Вы знаете ее адрес и кто она?

– Знаю. Мудрено прозывается: Бэта Крестьяновна; живет в Басковом переулке. Раза два отвозил я ей деньги. Непутящая! Познакомился с нею Валериан Константинович у Дорота[5] и с тех пор стал ездить. Понравилась она ему лучше француженки.

– Ну последняя и ревновала?

– Может быть, и ревновала бы, да вряд ли ей это было известно.

– Приехавши, Валериан Константинович позвал вас к себе?

– Да-с, позвонили и приказали подать бутылку коньяку, лимону и позвать барыню. После того, когда я подавал, что приказывали, Антонина Васильевна еще не приходили; а барин сидели вот на этом кресле, опустя голову, хмельные. «Убирайся ты, – сказали они мне, – от меня к черту и не смей входить: сегодня ты мне не нужен, я и сам разденусь». «Эге! – подумал я, – скверно: верно, будет беда барыне…» Валериан Константинович всегда отсылал меня с глаз долой, если когда задумает что недоброе. Совестился… И действительно, Филька говорил, что была между ними большая ссора, но подслушать, за что, он побоялся.

– Значит, – остановил я поток слов Прокофьича, – вы ничего не знаете, за что началась и чем кончилась ссора?

– Не знаю-с. Да и никто, потому что как только барин позовут барыню в кабинет, то всем уж известно, что они в больших сердцах, и все тогда уходят по своим комнатам, чтоб не показываться на глаза, а то они начнут, бывало, придираться.

– Вы мне говорили, – продолжал я допрос об отношениях Валериана Константиновича к Кардамоновой и Люсеваль, – этого, кроме вас, никто не знает?

– Как не знать! Все знают, начиная с барыни.

– Это очень важно! – воскликнул я невольно. – Не было ли претензий на Валериана Константиновича и со стороны женской прислуги? – спросил я, принимая в соображение нравственные достоинства покойника.

– Нет. Насчет этого покойник очень строги и горды были… И ни Боже мой!

– Я чрезвычайно спешу следствием, – заметил я Прокофьичу, – и поэтому не успел позвать священника и даже предупредить вас, что все высказанное мне вы должны подтвер-

---

[4] …катехитическим путем… – то есть на основе цепочки взаимосвязанных вопросов, что практиковалось в катехизисах – пособиях для изучения основ христианского вероучения.

[5] Дорот – известный петербургский ресторан, названный по фамилии владельца – Ш. Дорота.

дить под присягою. Я надеялся, что это вам, как пожилому человеку, и без меня известно. Правду ли вы мне говорили?

– Сущую правду.

– Сегодня, когда вы увидели барина мертвым, вы не ходили ни за чем в гостиную?

– Нет-с.

По окончании допроса Прокофьича я пригласил к себе Люсеваль. Выражение лица и манеры этой особы, когда она вошла ко мне, явно обнаруживали ее внутреннюю решимость преодолеть свое волнение предо мною и отвечать на вопросы хладнокровно, как совершенно непричастная свидетельница совершившегося преступления. Она говорила так дурно по-русски, что я с трудом мог понимать ее и поневоле прибегнул к французскому языку. Люсеваль объяснила мне, что семейная жизнь Верховских ей почти настолько же известна, насколько и мне; далее, что хотя между супругами и бывали иногда размолвки и ссоры, но они не носили характера серьезных неприятностей, и вообще Верховские жили между собой в согласии, любя и уважая, как ей казалось, друг друга. Собственные же ее отношения к членам семьи не переходили за пределы обычной роли компаньонки, без всякого чувства любви или злобы к тому или другому члену. Про вчерашнюю ссору или размолвку между мужем и женою она отозвалась, что слышала о ней мельком, что же касается происшествий сегодняшнего дня, то, встав поутру рано, она вошла в залу за книгою, которую забыла в этой комнате с вечера, и здесь она услышала, или ей, может быть, так показалось, из кабинета голос Верховского, как бы звавшего слугу, что и побудило ее пойти и позвать Прокофьича, который первый и увидел ужасную картину.

– Это все равно, – заметил я ей, – вы ли, Прокофьич или кто другой первый увидел труп; но дело в том, кто совершил преступление и как бы найти это лицо…

Затем я растолковал, какие последствия могут быть для нее, если окажется, что она показывает неправду.

– Еще есть время, если вы имеете что-нибудь прибавить, – сказал я.

– Нет, – отвечала Люсеваль довольно решительно, вышедши из своего раздумья. Я записал ее показания, и она их подписала.

Вызванная к допросу, вслед за Люсеваль, Кардамонова была довольно еще молодая белокурая женщина, полная, белая, румяная, с голубыми глазами с поволокою. Показания ее отличались полною искренностью, с опасением за свои прежние отношения к покойнику, прекращенные еще за несколько лет до рокового происшествия. Впрочем, сначала она стала было показывать о добром согласии между Верховскими, но когда я заметил ей, что мне известно нечто другое, то она тотчас же созналась, что сама была неоднократно свидетельницей семейных сцен между супругами, повод к которым подавал муж своим беспорядочным образом жизни; но, несмотря на это, Верховская никогда ни в чем, как за глаза, так и в глаза, не упрекала мужа, а нападал сам он, причем малейшее оправдание жены или слезы ее приводили его в бешенство… Об убийстве Кардамонова узнала от своей горничной, которая разбудила ее. Ночью она крику или шуму никакого не слыхала, и кто был убийцей – не знает, и подозрений ни на кого не имеет. Этим Кардамонова думала и ограничить свое показание, но я, объяснив ей, как и Люсеваль, согласно своей обязанности, важность свидетельских показаний, решился предложить ей смелый вопрос, пригласив ее, чтоб она мне прямо и откровенно, для своей же пользы, созналась, в каких отношениях она находилась к покойнику и к его жене… Внезапность моего вопроса смутила ее. Она вспыхнула вся, затем побледнела и отвечала несвязно и расстроенно:

– Да… Первое время Валериан Константинович ухаживал за мной… Я его боялась… Но что же мне было делать… Положение мое было горькое… Это продолжалось недолго. Приехала Жозефина Францевна, и все кончилось, вот уже четвертый год. Клянусь вам Богом. С

Антониной Васильевной же я никогда не ссорилась. Я попросила у ней прощения, и мы живем с нею очень дружно и согласно. Спросите у ней самой.

– Не сомневаюсь в этом, – успокоил я ее, – но скажите, не известны ли вам отношения Люсеваль к покойнику, и если они были интимны, то продолжались ли до последнего времени или нет, и в каких отношениях вы были с нею?

– Достоверно я ничего не знаю, – отвечала Кардамонова. – Действительно, в первое время, когда Люсеваль поступила, Валериан Константинович оказывал ей такое внимание, по которому нельзя было не заключить, что он влюблен в нее, и она с ним кокетничала; но потом они стали скрывать свои чувства. Я знаю только то, – прибавила Кардамонова, – что Люсеваль вертит домом, как ей угодно, и что бедной Антонине Васильевне от ее капризов очень плохо. Ко мне она относится с пренебрежением и трунит надо мною. Поэтому я всячески стараюсь избегать ее общества и встречаюсь с нею только за обедом да при гостях; обыкновенно же я или в своей комнате, или при Антонине Васильевне.

– Не ревнива ли Люсеваль?

– Ужасно, – отвечала утвердительно Кардамонова. – Я уверена, что едва ли она могла любить такого человека, как Валериан Константинович, но ревновать – она ревновала его ко всякой женщине.

Я еще сделал Кардамоновой несколько незначительных вопросов и отпустил с миром, смягчив, ради ее искренности, изложение в показании об ее отношениях к Верховскому.

Наступила очередь допроса жены покойника, хозяйки дома. Есть женщины, которые в самых зрелых годах сохраняют в себе прежнюю молодость, свежесть, девичью грациозность манер, мягкость и женственность, невыразимо влекущую к ним. Верховская принадлежала к таким особам. При входе ее я лишился серьезности и холодности юридического чиновника, в которую нередко старался облекаться при производстве следствия, и вместо обычных вопросов я невольно проговорил ей, когда она села в кресло:

– Вы, кажется, не в состоянии сегодня давать показания?

– Да. Но это все равно. Что сегодня, то я должна буду сказать и завтра.

– Чрезвычайно загадочное убийство!

– Несчастный случай! – сказала она, закрыв лицо руками.

– Случай? – возразил я. – Этого быть не может. По всей вероятности, оно совершено, судя по отсутствию всякого похищения, или из ненависти…

– О нет!

– То есть вы хотите сказать, что Валериана Константиновича больше любили, чем ненавидели? Но ревность и ненависть так близки между собою… Как бы то ни было, даю вам слово употребить все меры и усилия, чтоб найти убийцу; внутренний голос говорит мне, что я успею в этом.

Верховская вздрогнула и странно взглянула на меня; потом обвела глазами комнату, как бы желая удостовериться, одни ли мы, и произнесла почти шепотом:

– Ради Бога, не делайте этого!

Я был в большом недоумении относительно ее просьбы. Отношения мои к Верховской были самые безукоризненные, святые. Я безгранично любил и уважал эту женщину, как мать, и не смотрел на нее другими глазами. По странной случайности судьба моей матери в молодости была очень похожа на судьбу Антонины Васильевны. Мать моя была тоже дочь провинциального актера, как и Антонина Васильевна, на которой Верховский женился, бравируя предрассудки; но потом, когда жене его, как бывшей актрисе, офицерские жены не стали оказывать должного уважения, он раскаивался в этой женитьбе и винил жену в своих неудачах по службе. Отсюда и явились, как было мне известно, ненормальные между ними отношения. Я лишился матери на втором году своей жизни, следовательно, я почти не помнил даже черт ее лица; но когда я встретился с Верховской в первый раз, то мне почему-то тотчас же пришло в голову, что

мать моя была на нее похожа… Я бывал в доме Верховского единственно ради нее, и она относилась ко мне всегда ласково и дружелюбно. Обсуждая многозначительные слова Верховской, которые, конечно, я не думал заносить в протокол, так как они сказаны были ею мне не как судебному следователю, а как хорошему знакомому, я старался дать им какой-нибудь смысл. «По всей вероятности, – рассуждал я, – убийство, скорее всего, совершено госпожою Люсеваль, из ревности, а может быть, другою какою-нибудь женщиною или посторонним мужчиною, предмет любви которого сделался жертвою исканий покойника. Наконец, при всей невероятности последнего предположения, оно, в крайнем случае может быть дело рук старика камердинера…» Слова же Антонины Васильевны я мог объяснить себе лишь тем обстоятельством, что по какому-нибудь случаю ей известно имя убийцы, но по природной доброте своей она хочет скрыть его, о чем решается просить меня, рассчитывая на мою к ней дружбу и уважение. Но как подозрение мое, согласно сказанному выше, более всего относилось к Люсеваль или к личностям вроде нее, то я и отвечал на просьбу Верховской:

– Подобные люди не заслуживают пощады и того, чтоб вы просили о них. Вы сами перенесли от них много зла и неприятностей.

– О нет! – сказала она с каким-то непонятным для меня одушевлением. – От этого человека, кроме любви и уважения, я не видела ничего другого. Он готов отдать мне всю душу… Боже мой! Боже мой!

Антонина Васильевна опрокинула голову назад, на спинку кресла, и тихо зарыдала, причем почти в беспамятстве сделала такой жест рукою, что с лица свалилась повязка, закрывавшая большую часть правой его стороны, и здесь глазам моим представилась картина, изумившая меня более самих слов Верховской. На закрытой до этого времени части лица ее я увидел несколько значительных сине-багровых подтеков, а один из них ясно обозначил отпечаток подбора[6] от мужского сапога. Я предполагал, что Антонина Васильевна в обмороке, но она приподняла голову и, утирая заплаканные глаза, поспешно подняла повязку, с крайним испугом.

– Кем нанесены вам эти ушибы? – почти шепотом спросил я у ней.

Она не отвечала.

– Убийцей вашего мужа? – продолжал я.

– Нет.

– Кем же?

– Самим покойником… У нас вечером была ссора… Но, ради Господа, скройте все это от суда, в особенности ушибы.

– Это довольно трудно. Впрочем, я постараюсь, если вы непременно скажете имя убийцы. Из некоторых слов ваших я заключаю, что оно вам известно.

– Я никогда не сделаю этого, хотя бы мне угрожали пытки, – отвечала решительно Верховская.

– Какое же мне писать от вас показание?

– Какое знаете. Пишите, что мы жили несогласно, что накануне происшествия была между нами ссора и на лице моем – следы побоев. Пусть падет на меня подозрение. Но я не знаю имени убийцы и сама не совершила преступления. Передаю это происшествие в руки самого Бога.

– Нет, я подожду, – отвечал я ей, – я поступаю против своей обязанности, но я не сомневаюсь, что вы невинны. Я еще переговорю с вами сегодня или, может быть, завтра, и тогда составлю показание, которое вы подпишете… Может быть, вы доверите мне свою тайну… Антонина Васильевна! Не забывайте, что я люблю вас и уважаю, как свою родную мать.

– Верю, но заклинаю вас этими чувствами – пощадите меня: не требуйте от меня откровенности… Я бы еще раз повторила одну просьбу, что это невозможно… Благодарю вас, но

[6] *Подбор* – каблук, подбираемый из обрезков кожи.

знаю, что вы освобождаете меня хоть на короткое время от тяжкой необходимости отвечать на мучительные вопросы.

При последних словах Антонина Васильевна приподнялась с намерением уйти и пожала мне руку. Я проводил ее из комнаты. Остальные допросы прислуге и домашним я решился отложить до другого дня. В тот же день мне еще предстоял труд сделать обыск в доме, совместно с полицией.

4

Прежде всех подверглась осмотру комната старика камердинера. Там найдены были целые склады старых барских сапог, фуражек, шпор, белья и разного никуда не годного хлама, но чего-либо подозрительного, вроде кровяных пятен и прочего, не было. Этого мы также не нашли и в комнате госпожи Кардамоновой. За этим осмотром, по порядку допроса, следовал обыск комнаты Люсеваль. Комната эта была заперта ключом, и на предложение наше отпереть ее Люсеваль отказалась, ссылаясь на то, что она французская подданная и не намерена судиться по русским законам. «Я их не признаю, – твердила она. – Мне нужно консула». Совокупные усилия мои, врача и полицейских чиновников убедить ее в законности нашего требования и нелепости ее отказа оказались напрасными, и мы принуждены были отворить дверь в ее комнату полицейским мерами. Помещение Люсеваль заключалось не в одной, как я предполагал, а в двух комнатах: передней и довольно роскошном будуаре, уставленном дорогими растениями. На бюро и на туалетном столе находилось множество ценных безделок. Шкаф ломился от гардероба, а некоторые ящики комода были полны драгоценными вещами; другой ящик комода содержал в себе магазин косметических товаров. Тут же в комоде были три шкатулки: одна с серебряными монетами, другая с золотыми, а третья – с кредитными билетами и сериями; четвертая шкатулка слоновой кости помещалась на туалетном столике; она была полна писем из Парижа от знакомых и от поклонников красоты Люсеваль из разных мест; между этими письмами мы нашли множество лаконических писем покойного Верховского. Они написаны были большей частью на оторванных лоскутках почтовой и простой бумаги, такого содержания: «Непременно, сегодня после бала, я буду у тебя. Твой В. В.». Или: «Поезжай в оперу, а оттуда поедем к Дороту. Твой Валериан» «Приходи» и прочее. Все эти письма, разумеется, служили доказательством тех интимных отношений Люсеваль к покойнику, от которых она отказывалась в своих показаниях, но мне думалось найти в ее комнате также следы кровяных пятен, замеченных мной на полу. Однако долгое время осмотр наш, кроме уже найденного, не открывал ничего нового; причина заключалась в том, что мы начали не с того, с чего следовало бы, иначе поиски наши увенчались бы успехом с первого шага. Едва, по окончании осмотра комнаты, полицейский чиновник дернул за занавес алькова, за которым помещалась кровать, к нему подбежала Люсеваль, загораживая путь и задергивая занавес обратно.

– Не позволю, – вскричала она сначала по-русски и затем, обратясь ко мне на французском языке, стала протестовать против осмотра ее постели, называя русских варварами, не уважающими прав женщины.

Я ответил ей, что мог, и объяснил всю обширность власти судебного следователя, предоставленной ему законом в подобных случаях, и налагаемую ответственность за малейшее упущение. Но и здесь красноречие мое было так же безуспешно, как и в первый раз. Люсеваль от алькова была оттащена почти силой.

– Что вы делаете, что вы ищете? Бога ради, не трогайте, – закричала она с выражением ужаса на лице, когда я, осмотрев постель, начал перевертывать тюфяк, чтоб удостовериться, не находится ли там чего-нибудь особенного.

Там, действительно, лежала скомканная в узел накрахмаленная вышитая юбка.

– Это мое грязное белье. Его нельзя смотреть, – продолжала Люсеваль, бросаясь вырывать от меня взятую вещь, но была остановлена полицейским приставом.

Желая рассмотреть юбку, я развернул ее, и из нее выпала белая батистовая кофта и розовые атласные туфли. Все три вещи были окровавлены. На материи туфель пятна крови видны были лишь только по краям к подошве, а на последних она довольно ясно сохранилась в засохшем виде, преимущественно в изгибе между каблуками и ступней, причем правая туфля была окровавлена гораздо более левой. Я сообщил ей, что следы кровавых пятен от ступней замечены были мною еще при освидетельствовании трупа, о чем и записано в акте. Этим я рассчитывал довести Люсеваль до сознания и лишить ее надежды остаться безнаказанною путем запирательства. Тогда Люсеваль, видя наши энергические действия и не придумав какого-либо изворота, решилась на обычную женскую уловку: она вдруг затряслась вся, истерически зарыдала и довольно осторожно упала в мягкое туалетное кресло, свесив книзу голову. Доктор дал ей понюхать спирт и слегка потер ей виски; я же принялся за составление акта. Очнувшись, Люсеваль отказалась его подписать, ссылаясь на свою болезнь. Найденные вещи в комнате Люсеваль, в связи со странным разговором моим с госпожой Верховской, ставили меня в сильное недоумение. По всему видно было, что вчера в дом Верховских еще до убийства происходила страшная драма, но, во всяком случае, рассуждал я, убийцею должна быть француженка; поэтому, вышедши из ее квартиры вместе с доктором, я сказал ему:

– Ну-с, почтеннейший Павел Иванович, кажется, мы с вами можем сегодня и отдохнуть. Нужно только распорядиться о домашнем аресте Люсеваль и о надзоре за нею да о трупе. Первое я принимаю на себя, а второе предоставляю вам. Более обысков я производить сегодня не думаю. Право, не к чему. По всем данным, мы напали на след убийцы.

– Гм… – отвечал задумчиво доктор, и, пройдя по коридору несколько шагов, он тихо спросил меня: – А комнату госпожи Верховской вы оставляете без обыска?

– Неужели же вы подозреваете ее? – почти вскричал я, вздрагивая. Я понял, что вопрос сделан доктором, вероятно, не без основания.

– Я заметил, – ответил доктор, – на лице ее пятна, кровавые подтеки, происшедшие от недавних побоев.

– Знаете что, Павел Иванович, – сказал я ему, – эти кровавые подтеки я и сам видел. Но мы с вами не только следователь и доктор, но и люди. Будем же судить по-человечески. Очень легко может быть, как показывает и камердинер, что вчера вечером между покойным и его женой произошла ссора, последствие которой были замеченные нами пятна. Слов нет, подобные обиды другую женщину легко могут довести до мщения, но не Верховскую, женщину кроткую, робкую и терпеливую. К тому же, по всей вероятности, она привыкла к ним, так как трудно предполагать, чтоб Верховский, приученный с детства и за всю свою службу к кулачной расправе, не употреблял ее в отношении к своей жене. Следовательно, эти подтеки при имении нами вещественных данных, найденных в комнате Люсеваль, ничего не значат. Придав им значение, мы только возбудим сплетни в обществе против женщины и без того несчастной.

– Как знаете, – возразил врач, – следователь вы; я составляю акты и освидетельствования по вашему предложению. Я высказал вам свое мнение, как товарищу. Не присутствовав до обыска при допросах, я думал, что вам неизвестны семейные несогласия Верховских и вы не заметили на лице жены Верховского пятен. Но у вас есть свои соображения.

Последняя фраза кольнула меня.

– Я попрошу вас освидетельствовать Верховскую завтра же и сделаю, пожалуй, обыск. Сегодня я устал, да и бедная женщина исстрадалась вся.

– Завтра подтеки могут значительно измениться, – заметил врач, – а особенно при употреблении медицинских средств. Обыск можно произвести и без присутствия Верховской. Кстати, мы около ее спальни. Хотите, я позову полицейских и понятых? Простите меня, я убежден, что вы действуете совершенно бескорыстно и одно сострадание, при уверенности,

что госпожа Верховская невинна, заставляет вас давать ей некоторые льготы; но другие, не знающие вас, могут перетолковать ваши действия в невыгодную сторону. Впрочем, повторяю, я говорю как частный человек…

– Хорошо, – отвечал я со вздохом, – я последую вашему совету. Позовем понятых.

Покои Антонины Васильевны хотя были заперты, но ключ от них находился в замке. Я вошел в них, в сопровождении своих спутников, не без внутреннего волнения. Будуару предшествовала небольшая комната в виде залы, содержавшаяся в необыкновенной чистоте. В ней находился мягкий, диван, покрытый белым чехлом, несколько соломенных стульев и два мраморных стола. Чистота и опрятность составляли отличительную черту этой комнаты, которую скорее можно было принять за келью игуменьи монастыря, чем за будуар светской женщины. Туалетный стол был превращен в письменный, на нем лежали ноты, книги религиозно-нравственного содержания, в богатом переплете Евангелие, бюстики святых и распятие. Бюро помещалось за альковом; здесь тоже лежали молитвенник, святцы и небольшое Евангелие. Ярких цветов в будуаре вовсе не было: мебель была покрыта белыми чехлами, оконные занавесы были такого же цвета, альков[7] – серо-шоколадного. Одна только лампада, горевшая перед киотой[8], проливала вокруг себя яркий свет, отражавшийся на золотых ризах образов[9].

Пересматривая вещи Верховской, я старался ставить их в прежнем порядке на старое место. Обыск наш приближался уже к концу очень счастливо для Антонины Васильевны, как неожиданно доктор заметил в кровати выдвижной ящик. Выдвинув его, мы нашли в нем одно только серое женское платье, которое лежало посреди массы пыли. По-видимому, ящик не выдвигался долгое время, года два или более; платье же было брошено накануне, потому что верхняя часть его не носила ни малейших следов пыли, чего не могло быть, если б оно лежало давно. На платье мы нашли кровяные пятна, и притом такой формы и на таком месте платья, что почти безошибочно можно было заключить о происхождении их от обтирания о платье рук, запачканных кровью.

Я грустно повесил голову и принялся за составление нового акта. Позванная горничная удостоверила, что платье принадлежало Антонине Васильевне и она была в нем накануне…

5

Кровяные пятна, найденные на платье госпожи Верховской, еще более усложняли и запутывали и без того загадочное убийство ее мужа. Я терялся в догадках, предположениях и не мог развязать гордиев узел. Вся надежда основывалась на передопросах, которые могли выяснить что-либо, на случай если б кто-либо из допрашиваемых лиц сделал обмолвку. Но старик Прокофьич и Кардамонова показывали во второй раз то же самое, что и в первый, прислуга тоже. Показания последней были весьма незначительны; об убийстве она отзывалась полным неведением; весь интерес заключался только в сообщении некоторых подробностей об образе жизни покойного, вполне подтверждавших его интимные отношения ко многим женщинам, и, между ними, к Кардамоновой и Люсеваль. Я вызвал также к допросу и последний предмет любви Верховского, Бэту Христиановну Крок, о которой упоминал в своем показании камердинер. Она оказалась вдовою инструментального мастера, финляндской уроженкой, но физиономия ее скорее напоминала восточный тип еврейки или, пожалуй, гречанки. Она была очень красивая особа, двадцати восьми лет, как видно владевшая искусством притворяться при надобности страстной и влюбленной. Бэта Христиановна принадлежала к тем особам, о которых говорится, что они «видели на своем веку виды». Она проживала некоторое время в Вене, в Берлине и,

[7] Альков – ниша в стене, предназначенная для кровати.

[8] Киота (устаревшая форма слова «киот») – застекленная створчатая рама или шкафчик для икон.

[9] Ризы образов – оклад на иконах.

кажется, в Париже. Про отношения свои к Верховскому эта женщина показала, познакомилась с ним у Дорота и потом принимала у себя и ездила с ним кататься. Накануне он приезжал к ней в гости вечером, часов в семь, как передавала ей прислуга, но она, не ожидая в тот день гостей, уехала часов в шесть из дома по делу к одному своему знакомому в Екатерингоф, где пробыла до утра. Справедливость всего этого подтвердилась наведенными мною справками и свидетельскими показаниями домашней прислуги Бэты Крок, также ее знакомого и прислуги в Екатерингофе, а потому она, на основании юридического alibi (отсутствия во время происшествия из того места, где оно совершено), осталась вне подозрений. Люсеваль на передопрос явилась без всяких признаков прежней самоуверенности. Казалось, она обдумала свое положение, взвесила мои слова и решилась сознаться.

Но я все-таки смотрел на нее недоверчиво, зная по опыту, как иногда преступники, а особенно преступницы умеют принимать на себя личину оскорбленной невинности и под видом искреннего признания скрывать и маскировать истину.

– Я очень виновата перед вами, – начала Люсеваль с умоляющей физиономией, – я дала вам вчера ложное показание. Сделайте милость, извините меня и пощадите. Вникните в мое положение. Я – девушка. Своим сознанием я лишаюсь не только доброго имени и куска хлеба – после этой истории не сыщу места, – но еще навлекаю на себя подозрение в убийстве. Поэтому вчера, в сильном испуге, я побоялась рассказать всю истину, думая, что этим я спасу себя. Между тем я, кажется, лишь повредила себе. Впрочем, я хорошо не знаю. Примите во мне участие! Посоветуйте, что делать! Послушайте: мы с вами в этой комнате совершенно одни. Подарите мне несколько минут. Будьте вы не судебным следователем, а посторонним человеком, например моим адвокатом. Я открою вам полную и глубокую правду, все как было. Но… дайте честное и благородное слово, что когда вы выслушаете меня, то скажете откровенно: полезно ли мне это признание? Не лучше ли отрекаться и сочинить какую-либо другую историю относительно кровяных пятен на платье? Я так запугана вашими русскими уголовными законами! Не думайте, чтоб я требовала от вас одолжения совершенно безвозмездно. О нет! Я готова пожертвовать всем. Позвольте мне на первых порах, собственно за совет, предложить вам, что есть у меня в распоряжении.

Люсеваль вынула из кармана пачку пятипроцентных билетов. Я привстал с кресла и стал, как бы в раздумье, прохаживаться по комнате, не говоря ни слова, с намерением ввести Люсеваль в заблуждение о своем бескорыстии, и не прерывать ее, чтобы дать возможность ей высказаться.

– Освободите меня, – продолжала она, – от суда или дадите благоприятный исход делу – я готова дать втрое больше, хоть все, что вы видели у меня в комоде… Даю вам слово, ваш совет останется в тайне и вы сделаете доброе дело, потому что, клянусь вам, я невинна в преступлении. Примите же мой ничтожный подарок.

– Благодарю, – отвечал я, останавливаясь перед Люсеваль и смотря ей прямо в глаза. – Я денег ваших не приму, потому что это у нас называется – взятка. Мнение иностранцев о русском взяточничестве было очень справедливо, но, заметьте, было, теперь же последнее существует почти в той же мере, как и в других государствах. Чтоб прекратить старое зло, правительство рискнуло предоставить весьма важные юридические и следственные должности таким молодым и малоопытным людям, прямо со школьной скамейки, как я, руководствуясь тем соображением, что их юношеская, неиспорченная натура чужда взяточничества. И, говорю вам смело, из сотни молодых судебных следователей едва ли вы найдете одного взяточника… Если б подобное предложение мне сделала не женщина, и притом не иностранка, я бы серьезно обиделся, но вас я извиняю. К тому же если вы говорите правду, что вы совершенно невинны, то вам и незачем подкупать мою совесть.

– Простите, – проговорила она, – я не знаю, к кому мне обратиться, и прибегнула к вам. Мне казалось, что я буду покойнее, если поблагодарю вас.

Такая наивность заставила меня улыбнуться и отнестись к поступку Люсеваль хладнокровнее.

– Следовательно, – спросил я ее, – теперь, когда я отказался от денег, я этим отнял у вас всякую надежду на участие? Вы ошибаетесь. Правда, предложение ваше меня обидело, но обращение ко мне как к человеку достигло своей цели. Будьте же добры, расскажите вашу историю откровенно. Это ни в каком случае не может повредить вам.

– Я, право, боюсь. Мое прошлое не безупречно. Мне стыдно. Притом после вчерашнего отрицания моя история может показаться неправдоподобною.

– Неправдоподобною?! Когда она истинна?

– Да! Уверяю вас всем святым.

– Насчет этого будьте покойны, – сказал я Люсеваль. – Несмотря на то, что вы еще не удостоили меня своею откровенностью, я вам выскажу некоторые мои правила при производстве следствий. По странной случайности в начале моей службы мне попадались такие запутанные дела, в которых неотразимые подозрения падали всего чаще на лиц, совершенно невинных и оправдания их казались баснями; преступники же долго оставались вовсе в стороне, людьми посторонними. Но в конце строгого следствия ход дела изменялся и басни превращались в быль. Вследствие этого у меня выработалось правило считать вероятными самые неправдоподобные истории и проследить их, если, конечно, они не полная нелепость, которая говорит сама за себя; и ко всем неотразимым доказательствам я отношусь с крайнею осторожностью и беспристрастием, стараясь не верить им и искать преступника между малозаподозренными. Это обратилось у меня в манию. Теперь верите мне?

– Верю, – отвечала Люсеваль, погрузившись в задумчивость, после чего, сделав небольшую паузу, она спросила: – С чего же мне начать? Со вчерашнего ли дня, как я увидела убийство, или ранее, с истории моей жизни?

– Чем подробнее, – заметил я ей, – я буду знать обстоятельства вашей жизни, тем лучше.

– Я, – начала Люсеваль, – парижская уроженка. Маменька моя имела средства, мы хорошо жили и всегда бывали в порядочном обществе. У меня был жених; он очень любил меня и думал жениться, чему помешали разные обстоятельства. Маменька в это время заболела и умерла, состояние ее было взято, потому что она могла располагать им только при своей жизни; мне выдали 500 франков и предоставили самой себе. Я решительно не знала, что мне делать. Между тем я получила некоторое образование: знала немецкий язык, историю, географию, несколько математику и музыку. Поблизости моей квартиры был небольшой отель, принадлежавший одному русскому семейству. Семейство это, как я узнала чрез объявление в газетах, нуждалось в то время в гувернантке, в отъезд в Россию; я пошла с предложением своих услуг. Госпожа Д. – фамилия русской дамы – была очень добрая и чувствительная особа; она пожалела о моем сиротстве и приняла мое предложение. Вслед за тем мы поехали в Россию. Здесь зиму и осень мы жили в Петербурге, а лето в имении под Москвою. По прошествии года я перешла от Д. в другое семейство, затем, вскорости, – в третье, потом – в четвертое, и так далее. Мужчины везде постоянно преследовали меня, осыпали любезностями, комплиментами, искательствами и обещаниями – и постоянно обманывали. Я была чрезвычайно легкомысленна и легковерна. На шестом или седьмом месте, когда я сделалась уже солиднее и зрелее годами, я как-то оглянулась вокруг себя, вникнула в мое положение и образ жизни, и увидела, что легковерность моя чрез несколько лет может свергнуть меня в ужасную бедность, нищету и сделать из меня несчастнейшее создание. Я дала себе слово перемениться и всеми мерами стараться обеспечить свое будущее. Прежде я вовсе не была жадна к деньгам, напротив, я сорила ими. Во время этой перемены во мне я жила в провинции у одного богатого помещика-степняка, имевшего огромное семейство, в губернском городе Е. Жизнь моя в этом доме была хуже, нежели в других, потому что мои ученицы были уже совершенно взрослые девушки, вследствие чего происходили столкновения наших самолюбий и другие неприятно-

сти. Впрочем, помещик жил открыто, часто давал для дочерей балы и вечера, и недостатка в поклонниках у меня не было; но между ними я не могла сделать выбора соответственно задуманной цели: они принадлежали или к кругу бедных чиновников, или были люди скупые и расчетливые. Такая неудача начала было уже выводить меня из себя, как однажды является в наш дом майор Верховский, приехавший в качестве ремонтера[10] за покупкою лошадей к помещику, у которого был довольно обширный конский завод. С первой встречи наружность моя произвела на Верховского впечатление, и за обедом он просто пожирал меня глазами. Вечером, когда я пела за роялем, он уже совсем был очарован мной и готов был на признание, но я довольно холодно и гордо отклонилась от этого. Со своей стороны, и я обратила внимание на Верховского: он показался мне именно одним из тех мужчин, которые, если возбудить в них страстную любовь, готовы пожертвовать для любимой женщины всем. Из разговоров же его с помещиком я узнала, что он богат и имеет несколько имений в разных губерниях, но при этом я поняла, что Верховский ветрен не по летам и сластолюбив, а потому, чтоб заинтересовать его и иметь над ним хотя некоторое время влияние, я решила, что нужно сначала выдержать упорную борьбу против его желаний и затем продолжать интригу, подогревая его чувства кокетством и возбуждая ревность. Он будет беситься, неистовствовать, но будет прикован к такой женщине надолго. О том, что он женат, я не знала. Об этом я получила сведение гораздо позже, когда уже между нами произошло объяснение. О себе я рассказала ему целую историю, с замогильным женихом и т. п., разумеется совершенно вымышленную, но очень романическую. С каждым днем Верховский привязывался ко мне все сильнее и сильнее. Я то подавала ему надежды, притворяясь страстною женщиною, не могущею удержать порыва своего влечения к нему, то избегала его, как женщина нравственная и строгая к себе, не решающаяся пренебречь известными общественными условиями и нарушить свой долг. И, если б Верховский был не женат, он непременно просил бы у меня руки. Наконец между нами наступил тот период отношений, в который или я должна была уступить желаниям Верховского, или он вынужден был бы бежать от меня, потому что сносить долее то положение дел он был не в состоянии… В скором времени после этого Верховский получил в Петербурге новую должность, обязывавшую его жить там безотлучно; это заставило его просить меня переехать к нему в дом туда, причем он принял на себя труд устроить это под благовидным предлогом, не компрометируя меня. Я долго не соглашалась, но боязнь быть совсем оставленной им, и вместе с тем лишиться надежды на осуществление моего плана в будущем, побудила меня принять такое предложение…

6

– Я буду с вами откровенна, – продолжала Люсеваль, обращаясь ко мне и прерывая свой рассказ. – Вы видели, я не скрыла от вас даже грязных моих побуждений на первые отношения к Верховскому. Не утаю и того, что переехать к нему в дом я согласилась, между прочим, и в тех видах, что он будет у меня находиться постоянно под руками. Верьте же искренности и следующего моего признания. Когда я была моложе, у меня, как я говорила вам, было много обожателей, людей молодых, красивых, обладавших достоинствами и талантами и любивших меня глубоко и серьезно, но я никого так в жизни не любила, как в последнее время Верховского. Словно приворожил меня этот человек к себе, когда я отдалась в его власть. Может быть, источником этого чувства было отчасти самолюбие и преимущественно развитое в женщинах желание удержать жертву в своих руках, если она по ветрености своей выскользает; может быть, здесь действовали и страх, что я уже стареюсь и мне трудно найти прочного поклонника, и оскорбление, что меня бросают… Скорее же всего, все это вместе. Я знаю лишь, что прежняя корыстолюбивая цель отошла на второй план и я чувствовала такую жгучую ревность ко всякой

[10] Ремонтер – офицер, отправленный из полка для закупки лошадей.

женщине, к которой Верховский был сколько-нибудь любезен или внимателен, какая может быть только при самой страстной любви… Вероятно, и вы слышали о подобных явлениях, что довольно опытные кокетки попадаются в сети, ими же расставленные для своих жертв? Это нервное и раздраженное состояние духа, в котором я была во время нахождения в доме Верховского, заставило меня, от природы добрую, быть несправедливой ко всем окружающим, особенно к Антонине Васильевне. С первого же дня приезда, когда Верховский притворился перед домашними, что он до вступления моего в его дом не был знаком со мною, я догадалась об отношениях его к Кардамоновой. Они произошли в промежуток между оставлением мною места в Е. и прибытием в Петербург, за пять-шесть месяцев. Но Кардамонова была в глазах моих слишком неопасная соперница, по своей неразвитости. Что же касается жены Верховского, то я сознавала, как трудно мужчине не поддаться обаянию ее симпатичной наружности, ее женственности – и не уважать ее. При всей своей безнравственности, и сам Верховский уважал ее и даже по-своему любил. Он чувствовал, что его жена выше всех тех женщин, с которыми он сходился. Ссоры между ними происходили потому, что его совесть колола чистота жены. И, прими на себя Верховская хотя притворно маску кокетства, она бы возвратила себе любовь мужа. Ревнуя Верховского, как старого ловеласа, я в то же время мучилась мыслью, что или его порывы угомонятся, или когда-нибудь наступит час покаяния, но он непременно, рано или поздно, обратится к жене. Поэтому, считая Верховскую своим естественным врагом, я, в припадке ревнивых соображений, тиранила и терзала несчастную женщину капризами и придирками. Антонина Васильевна переносила все это терпеливо; когда же чад проходил, мне становилось жалко своей жертвы; я с благоговением смотрела на нее, готова была просить прощения и целовать у ней руки. К сожалению, Верховская не понимала этого, не хотела обращать на меня внимание и удалялась, что вызывало у меня новый порыв бешенства.

В таком положении шли дела несколько лет. Мне стоило больших трудов, но я сумела удержать Верховского в своей власти до прошлого месяца. С этого же времени я стала замечать в нем перемену и заподозрила его в интриге на стороне. Однако я предполагала поговорить с ним об этом тогда, когда буду иметь в своих руках улики, но улик этих я не добыла до самой его смерти. Между тем, накануне происшествия, его резкая невнимательность ко мне и странный отъезд из дома, а потом возвращение превратили мое подозрение в положительную уверенность, и я решилась объясниться с ним; но произошедшая в тот вечер ссора Верховского с женою помешала мне сделать это. Я ушла к себе в комнату часов в десять, а чрез час разделась, улеглась в постель и принялась было читать; но книга скоро выпала из рук, и я заснула, так что мой сон можно назвать почти послеобеденным и случайным, потому что мы обыкновенно обедаем в седьмом часу и я никогда не ложусь ранее часа, двух. Улегшись так рано, я проснулась около трех часов утра. Мне не спалось, и я вспомнила свое намерение объясниться с Верховским и то, что он, бывая с вечера пьян, часто просыпался в средине ночи. Верховский спал всегда крепко и не чутко, но никогда не сердился, если я его будила, и показывал вид, что это ему приятно. Рассуждая об этом, я, в кофте, юбке и туфлях, осторожно пошла к нему переговорить или узнать, спит ли он. Дверь в кабинет была незаперта; прежде всего меня удивила бывшая в нем темнота: я знала, что Верховский всегда спал при ярком свете лампы или двух свечей. Это заставило меня на несколько секунд остановиться и прислушаться, спит ли он, или его нет дома. Ни храпа, ни дыхания не было слышно. Я ощупью пошла далее и, не дойдя несколько шагов до кровати, протянула к ней руки, надеясь дотронуться до нее, чтоб убедиться, здесь ли Верховский, или его нет. Вдруг нога моя наступила как бы на человеческое туловище, скользнула по нему, и я упала как раз грудью на труп, ударившись повыше лба головою о кровать. Затем я тотчас же быстро поднялась с пола, причем руки мои на ковре почувствовали что-то липкое и мокрое; охолоделости же трупа я не заметила, так что хотя внезапное падение и испугало меня, но я вовсе не заподозрила какого-либо несчастия и приписала все ненормальному состоянию Верховского, который, думала я, просто упал с кровати. Я бросилась к письменному

столу зажечь свечу, чтоб разбудить и уложить несчастного на место. Но можете представить себе мой ужас, когда я увидела Верховского, плавающего на ковре в луже крови, и тут же – орудие его смерти! Я задрожала, остановилась и в страхе, как будто преступницей была я, дико оглядела комнату… Во всем доме царила глубокая тишина. «А что, если убийца спрятался в кабинете и бросится на меня?» – быстро пришло мне в голову. Как сумасшедшая, я дунула на свечку, кинула ее на стол, выбежала из кабинета в свою спальню, чрез залу и гостиную, и заперлась там на ключ. Чрез несколько минут я пришла в себя и обсудила свое положение; оно было безвыходно: разбудить прислугу и уведомить о происшествии домашних – значило бы открыть свои отношения к покойнику и показать, что я ночью ходила к нему, чем я навлекала на себя подозрение; а о русских законах я наслышалась таких ужасов, что ожидала, что при малейшем подозрении меня засадят в тюрьму, где я просижу несколько лет, а может быть, и вечно. А потому я решилась скрыть, что я ночью ходила в кабинет и видела труп. Кровь на руках своих я обмыла, а белье спрятала, не предполагая обыска, под тюфяк. Остальную часть ночи я не спала и ждала времени, когда проснутся домашние. Минуты казались мне чуть не годами; нетерпение усиливалось с каждым мгновением, и западала также мысль: не жив ли еще Верховский. В девятом часу я не могла удержать себя и вышла из своей комнаты, чтоб послать камердинера. Я была очень встревожена… Дальнейшее вы знаете: Прокофьич поднял крик, разбудил домашних, послали за полицией и приехали врач и вы… Я не знаю, – заключила Люсеваль, – кто был убийца, и никого не подозреваю из домашних; если б Антонина Васильевна была другая женщина, то, после вчерашней ссоры с мужем, я могла бы подозревать ее, но она не может и не в состоянии этого сделать. Про себя же я рассказала вам все, как пред Богом! Еще раз клянусь вам, что я невинна. Не смотрите же на меня подозрительно! Будьте справедливым судьею и человеком!

Французы выработали весьма справедливую поговорку – «тон делает музыку». Манеры Люсеваль, которые сопровождали ее показание, игра физиономии, краска на лице, одушевление, с оттенком легкого цинизма, искренность, дышавшая в ее словах, делали ее показание правдоподобным, и я, при всей подозрительности своей, поверил ей. Последнее показание свое Люсеваль скрепила подписью.

От первой женщины, заподозренной в убийстве, я пошел ко второй, попросив врача, прибывшего уже для освидетельствования знаков на ее лице, подождать меня немного в зале.

Прошли одни только сутки после того, как я видел Верховскую. Но, Боже, как может перемениться человек при душевных страданиях и за такой ничтожный промежуток времени! Щеки ее осунулись, резко обозначая скулы, глаза потускнели и окружились темной каймой, нос заострился, и, незаметные до того дня, седые волосы рельефно и в большом числе показались между своими русыми товарищами. Чтоб сколько-нибудь приготовить ее к встрече с собою и к разговору, я за несколько минут предупредил ее о своем приходе, но, невзирая на это, Верховская приняла меня с крайним замешательством, из которого я, между прочим, заключил, что ей известно о бывшем обыске в ее квартире и найденных вещах. Мое положение при входе к Верховской было также невыносимо тяжело. Я не мог придумать фразы, с чего мне начать речь, и, поклонившись, я как истукан опустился в кресло. Антонина Васильевна сидела передо мной с лицом приговоренной к смерти, но вдруг на бледных щеках ее вспыхнул яркий румянец и стал распространяться все сильнее и сильнее.

– Благодарю вас, – выговорила наконец она, поднимая на меня глаза, – за ваше участие ко мне. Пусть Бог наградит вас за это. Знаю, что вчера, чтоб облегчить мою долю, вы сделали более того, что могли. Вы поступили против своих обязанностей по должности. Могу ли я не быть вам признательной? Но, как видите, факты группируются так, что дальнейшие ваши жертвы совершенно бесполезны для меня и положительно вредны вам. Исполняйте же вашу обязанность строго и точно, а жребий мой предоставьте Богу. Ему угодно было послать мне крест, и я перенесу его с полным терпением. Если же я попрошу вас о том, о чем просила

и вчера, чтоб вы не употребляли особо энергических мер к розыску убийцы, то это потому, что дело может продлиться долго и могут пострадать лица невинные, которые были в близких отношениях к покойному. Это будет мучить меня…

– Антонина Васильевна! Не губите себя… Вам известен убийца?

– Нет.

– Вы даете мне этот ответ, – спросил я ее, – как следователю или как другу?

Она не отвечала.

– В том, – продолжал я, – что вы в этом деле невинны и не способны ни на что подобное, я убежден, как в самой очевидной аксиоме, и никакие вещественные доказательства не могут переубедить меня. Но я горю внутренним желанием – которое не могу объяснить себе – услышать подкрепление своего убеждения из ваших уст. Откройтесь мне не как следователю, но как другу, как сыну, беспредельно вас уважающему; я не буду спрашивать имени убийцы, и ваша тайна умрет. Вы знаете, кем совершено убийство?

– Да, – отвечала, вздрогнув, Антонина Васильевна и привстала с кресла, чтоб пройтись по комнате.

– Что же мне писать в вашем показании? – предложил я.

– То, что видите. Напишите, – как бы диктовала Верховская, – что о происшествии я узнала утром от своей прислуги; что накануне между мною и мужем был один только громкий разговор, без ссоры, и жили мы дружно, а виденные на лице моем побои я нанесла сама себе в болезненном припадке; кровяные же пятна, найденные на моем платье, произошли, вероятно, от пореза руки или чего другого, но когда именно, не помню. К этому прибавьте, что я никого не подозреваю в убийстве мужа и думаю, что он лишил себя жизни сам, будучи в ненормальном состоянии.

– Но такое показание, – воскликнул я, – равносильно обвинительному акту! Оно хуже признания в совершении преступления! Ему никто не поверит. Это запирательство…

– Что же делать! – отвечала твердо Верховская. – Но я решилась дать именно такое показание. Оно содержит в себе менее лжи. Во имя уважения вашего ко мне и той симпатии, какую вы чувствуете к моему положению, – продолжала она, – я прошу вас не препятствовать моей роли и действиям. Вы же исполняйте в отношении меня свой долг беспристрастно.

С этими словами Верховская протянула руку к колокольчику и позвонила.

– Для чего это? – спросил я ее с изумлением.

– Сейчас увидите… Потрудитесь, – обратилась она к явившемуся на звонок слуге, – попросить сюда господина доктора от имени господина судебного следователя.

Я опустил голову, закрыл руками глаза. По щекам моим заструились слезы.

7

Во время службы моей судебным следователем у меня в производстве были дела с гораздо большим уголовным оттенком, чем дело об убийстве Верховского, сопровождавшиеся тиранией над жертвою до зверства, с грабежом, насилием и тому подобным, и не менее запутанные для отыскания преступников, но ни одно из них не было так тягостно для меня и не ставило в такое затруднительное положение. Полупризнание, сделанное Антониной Васильевной мне, не как следователю, но как другу и частному человеку, накладывая на мои уста печать молчания, стесняло все мои действия и парализовало их относительно других лиц. Не будь этого полупризнания, я бы производил следствие энергично и переносил бы свои подозрения с одного лица на другое, например с Люсеваль на камердинера, на стоящую в тени Кардамонову и так далее, – и очень немудрено, что, при энергии и самоуверенности, я, может быть, и напал бы на следы настоящего преступника. В настоящем же положении я впал в апатию и исполнял свою должность пассивно. Принимая в соображение некоторые фразы Верховской

из ее признания, мне казалось, что я должен искать убийцу вне домашних лиц. На особое раздумье наводили меня еще и слова ее, при первом допросе, в отношении убийцы, что «от этого человека, кроме любви и уважения, она ничего другого не видела»… Кто же был этот человек? Скажи мне подобное другая женщина, а не Антонина Васильевна, я бы заподозрил здесь любовную интригу. Не играет ли роль в этом происшествии, рассуждал я, старая любовь и привязанность, которая побудила совершить преступление, чтоб избавить любимую или уважаемую женщину от тирании и деспотизма мужа? Значит, во всяком случае, убийца должен быть в числе хороших знакомых семейства Верховского, посещающих или часто посещавших их дом? Озаренный новой мыслью, я энергически принялся разузнавать о более или менее близких знакомых Верховской и отыскивать между ними убийцу. Но проходила неделя, другая, а подозрение мое даже и не пало ни на кого из этих лиц. А между тем уже наступил срок передачи дела в высшую судебную инстанцию. Видя полнейшее фиаско во всех своих планах и не ожидая ничего путного в будущем, я решился на это, принося в жертву мое следовательское самолюбие.

Однажды, сидя поздно вечером в своей квартире, я перелистывал и перенумеровывал злополучное дело, намереваясь завтра же отослать его. Занятие мое неожиданно было прервано звонком и вошедшим затем незнакомым мне посетителем, молодым человеком лет двадцати трех, красивым брюнетом, с длинными черными волосами и небольшой овальной бородкой и усиками. Резко очерченный горбатый нос, несколько греческого типа, и тонкие сжатые губы придавали энергическое и решительное выражение его физиономии, которое увеличивала необыкновенная бледность и худоба щек при большом выпуклом лбе; черные круглые глаза светились лихорадочным блеском и показывали сильное внутреннее волнение.

– Вы, – спросил он меня, – судебный следователь такой-то?

– Я.

– Вы производите следствие по делу об убийстве полковника Верховского? – Голос молодого человека при этом вопросе дрогнул.

– Так точно.

– Мне нужно сообщить вам по этому делу очень много важного.

Я пригласил его садиться, но незнакомец, кивнув головой, продолжал:

– Я Николай Валерианов[11] Ховский. Родной, но незаконный сын полковника Верховского. Убийца моего отца – я.

Он взялся за ручку кресла и повесил голову.

Я смотрел на него с изумлением. Черты лица его действительно имели сходство с Верховским.

– Заявление ваше, – обратился я к Ховскому, – так важно, что требует подробного и обстоятельного изложения. Будьте добры, садитесь и успокойтесь.

Ховский сел и попросил стакан воды. Страдания, ясно отпечатанные на лице молодого человека, заставили меня предложить ему вопрос, в состоянии ли он дать мне подробные сведения о происшествии, при том волнении, которое я замечаю в нем.

– В состоянии, – отвечал он. – Я достаточно приготовлен к нему, и меня значительно облегчает то обстоятельство, что я буду передавать свой рассказ не совершенно постороннему человеку, а вам. Вы всегда так уважали мою мать. Я смотрю на вас как на родного.

Я догадался, что Ховский говорит об Антонине Васильевне, но недоумевал, по какому случаю он называл ее своею матерью…

– Чтоб объяснить вам, – продолжал Ховский, – то странное преступление, которое я совершил, мне необходимо предварительно рассказать вам семейную хронику Верховских и свою биографию. Первая вам, как знакомому их, я полагаю, сколько-нибудь известна, хотя,

[11] …Валерианов… – У лиц низкого социального происхождения отчество обычно употреблялось в усеченной форме.

быть может, факты переданы в извращенном виде. Например, по рассказам покойного, женитьбой его на бедной девушке, актрисе, руководила любовь; между тем в действительности побудительной причиной, по моему мнению, были грубая чувственность и эгоизм. Лучшим подтверждением этого служит то, что Верховский очень скоро стал тяготиться неаристократическим происхождением жены и менять ее на личности, не имевшие ни малейшего человеческого достоинства. Несчастное происшествие представило вам доказательства этому в лице Люсеваль, Кардамоновой и еще какой-то неизвестной. Не думайте, чтоб я был к отцу своему слишком строг. Мне случалось за мою молодую жизнь видеть подобные ему чувственные натуры, но я не виню их, а, напротив, сожалею о них, как о слабых, не могущих бороться со своими страстями натурах. Однако они все-таки боролись, стремились преодолеть себя, и в первых своих увлечениях всегда содержалась по крайней мере доза нравственного чувства. У Верховского же ничего подобного не было. Я хорошо понимаю эти вещи… Оправдывает его одно только воспитание, но ведь целые сотни людей получали такое же воспитание, но сумели быть другими людьми… Характеристика моей матери так же печальна, как и отца. Те немногие сведения, какие я имею о ее личности, не представляют ничего утешительного. Она дочь майора и воспитывалась в одном из лучших петербургских институтов[12] на казенный счет; по окончании курса она поступила на частное место гувернанткой и осталась на этой должности, переходя из дома в дом, всю свою жизнь. Родителей своих она лишилась в детстве. Жива ли или нет мать моя, я не знаю, и с физиономией ее я знаком лишь по фотографической карточке, благодаря тому обстоятельству, что Верховский всегда берег портреты своих обожательниц. Подробности ее биографии, точно так же как и история ее первого, а быть может, второго и третьего падения, до встречи с Верховским, мне неизвестны. Судя же по отзывам лиц, ее знавших, по письмам к отцу и жене его, Антонине Васильевне, а также по другим источникам, это была девушка сантиментальная, пустая и ветреная, с нервами, расшатанными от чтения любовных романов, влюблявшаяся еще в заведении в «неземных подруг» и славшая к ним на розовых надушенных бумажках страстные послания о своих напускных чувствах… Она встретилась с Верховским спустя года три или два после его женитьбы, в одном доме, где он бывал довольно часто, и первая подала повод к близким отношениям. Затем Верховский случайно встретил ее на улице и назначил rendez-vous[13]… Лизавета Дмитриевна – имя моей матери – была в то время почти ровесница Верховскому, лет двадцати шести – двадцати семи; красивою наружностью она никогда не обладала, молодость свою уже потратила и отдалась Верховскому без всякой любви; поэтому она не возбудила в нем даже и минутного чувства. Отношения их продолжались всего три месяца; виделись они нечасто, с явной холодностью Верховского, обыкновенно не являвшегося в срок или вовсе пропускавшего свидания. Но рок зло посмеялся над ними: на второй месяц знакомства Лизавета Дмитриевна уже носила под сердцем «тайный плод любви несчастной», то есть меня. Об этом обстоятельстве она, конечно, передала Верховскому сейчас же, как удостоверилась в своем положении, а может быть, и ранее, в надежде, что это вызовет особую с его стороны любовь, но Верховский не только не обрадовался такому известию, но вовсе не поверил ему, считая это обманом, с целью привлечения его в сети; словом, прежнее равнодушие его перешло в антипатию. Он уехал из города и не давал о себе никакой вести. Положение, в котором находилась моя мать, для девушки, жившей в чужом доме, было непростым, но она перенесла его довольно легко, благодаря дружбе ее с хозяйкою дома, готовой покровительствовать всякой любви; в известную пору она доставила моей матери средства выехать из города, нанять в пригородной слободке квартиру, причем положение ее было скрыто от всех посторонних, насколько это было возможно. Этой же госпоже пришла в голову мысль сблизить Верховского со своей гувернанткой, для чего, узнав о

[12] Институт – В XIX в. так именовались не только высшие, но и средние учебные заведения, как в данном случае.

[13] Свидание (фр.)

возвращении Верховского, она стала искать встречи с ним, и когда ей удалось это, описала ему мелодраматически обстановку девушки, ее страстную любовь к нему и страдания. Верховский был слишком эгоист, и его никогда не трогало горе людей, к которым он не чувствовал страсти, но любовь к нему льстила его самолюбию, да и денежную помощь он считал для себя обязательною. Поэтому на другой же день Верховский поехал к Лизавете Дмитриевне с порядочным кушем денег. К удивлению его, Лизавета Дмитриевна денег не приняла, хотя и не представила к тому основательных резонов, а наговорила только кучу фраз о самопожертвовании, о любви к ребенку и готовности всем поделиться с ним. Не пользоваться чужими деньгами вовсе не было принципом Лизаветы Дмитриевны; из прочитанных мною писем ее к Верховскому видно, что она и до, и после моего рождения принимала от него подарки и деньги, иногда даже прося его о них. Тем менее имела она право отказываться теперь от помощи Верховского, потому что я был настолько же ее сын, насколько и Верховского. Наконец, она могла это сделать тогда, если б была в состоянии сама, без посторонней помощи, доставить мне все нужное до известного возраста; попечение же и заботливость ее обо мне состояли лишь в том, что она оставила меня в селе на руках какой-то бедной женщины, с платою ей в месяц за корм и уход от пяти до десяти рублей, что, между прочим, не обеспечивало меня ни на какой период времени, так как, по ветрености своей, Лизавета Дмитриевна могла истратить назначенные на воспитание мое деньги на другие встретившиеся надобности или лишиться места гувернантки. О дальнейшей судьбе моей Лизавета Дмитриевна рассуждала так: поступит в гимназию, окончит там курс, потом будет в университете и пойдет себе… Будет доктор или учитель… Но как это все случится и какие я буду иметь к этому средства – это для нее покрывалось мраком неизвестности…

– Позвольте, господин Ховский, – прервал я его цинический, возмутивший меня рассказ, – зачем вы не щадите свою бедную мать и относитесь к ней так… неделикатно?

Он посмотрел на меня с некоторым изумлением и продолжал:

– Посещения не особо красивой, малолюбимой и больной женщины, при неблестящей обстановке, не приносили никакого удовольствия Верховскому, который гораздо охотнее отделался бы от всего этого деньгами, но ему не хотелось уронить себя в глазах благодетельницы Лизаветы Дмитриевны, представительницы губернских сливок. Впрочем, против меня он не имел ничего. Чтоб развлечь себя во время этих визитов, делаемых от одного до двух раз в неделю, Верховский обыкновенно привозил с собою шампанское, конфекты для матери и ценные подарки, которые она принимала, продолжая упорно отказываться от принятия денег на мое воспитание. Когда Лизавета Дмитриевна совсем поправилась, она объявила ему, что завтра едет в дом своей благодетельницы, а ребенка оставляет на попечение своей горничной, преданной ей безгранично, с тем, что она будет навещать меня каждое воскресенье и всякий праздник. Верховский при этом вновь сделал было попытку предложить свои денежные услуги, но Лизавета Дмитриевна по-прежнему осталась непреклонна. Я родился мальчиком слабым и болезненным, длинным и сухопарым, как и теперь. Горничная, моя нянька, была девушка добрая, но неопытная в деле ухода за детьми; она пичкала меня конфектами и всякой дрянью, отчего я, вероятно, умер бы, если б меня не спасла случайность. Как-то вскоре после того, как я был оставлен матерью, Верховский поехал с одним из своих товарищей на охоту и, возвращаясь оттуда мимо деревни, где я жил, вздумал показать меня ему. Жалкое и болезненное состояние мое было слишком очевидно, возбудило сострадание ко мне товарища Верховского и укололо самолюбие последнего. Он выбросил несколько двадцатипятирублевых горничной, обещал позаботиться о моей болезни и прислать в тот же день доктора. От меня Верховский вернулся домой в мрачном настроении духа и, не имея под рукою другой личности, на которую мог бы излить свою желчь, начал придираться к жене и, по ассоциации идей, упрекая ее в бездетности, высказал, что у него есть сын, погибающий будто бы по ее милости. Доброе сердце Антонины Васильевны прониклось глубоким участием к судьбе слабого и умирающего создания. Она тотчас же задумала спасти меня и предложила свои услуги – съездить ко мне,

взять доктора и нанять кормилицу. Сказано – сделано. Благодаря только ее заботам я не умер. Лизавета Дмитриевна меня почти совсем оставила, и это дало повод Антонине Васильевне хлопотать, чтоб я был отдан на полное ее попечение. Об этом предмете она долго и много говорила со своим мужем и наконец упросила его дозволить ей на некоторое время поехать в деревню и взять с собою ребенка. Отпуск жены в деревню совпадал с собственными расчетами Верховского, денежные дела которого в то время были сильно расстроены: из нескольких имений у него осталось только одно, и то заложенное; прочие были прокучены, проиграны и проданы с аукционного торга. Прежде Верховские жили гораздо открытее теперешнего, задавали блестящие балы, постоянные музыкальные и даже литературные вечера, домашние спектакли и прочее, сам Верховский много играл, кутил и был несчастлив в покупке лошадей для своего полка. Одно время они сильно нуждались, именно когда Антонина Васильевна жила со мною в деревне, и, если б не умер бездетным один дальний родственник, после которого осталось несколько богатых имений, домов в Петербурге и Москве и до трехсот тысяч наличного капитала, они остались бы нищими; но Верховский и это богатое наследство значительно расстроил, по крайней мере уже два имения проданы и наличного капитала у него не было, хотя в публике о нем составилось другое мнение.

Итак, Верховский согласился на отъезд жены в деревню; против взятия меня туда он также ничего не имел; следовательно, все дело останавливалось за согласием Лизаветы Дмитриевны. Чтоб получить его, Антонина Васильевна прибегнула к покровительству той же горничной, уже отставленной от должности моей няньки; я же поручен был надзору хозяйки того дома, где я родился, простой, тупоумной и неграмотной женщины. Лиц, окружавших мое детство, я почти всех разыскал впоследствии, и от них-то я узнал те подробности моего младенчества, которые я теперь передаю вам. Горничная приняла поручение Антонины Васильевны с большою охотою и выполнила его блестящим образом, насказав своей барыне целый роман об одной богатой и бездетной вдове, которая случайно увидела меня в церкви, полюбила, и так далее… Лизавета Дмитриевна сначала закричала: «Я ни за что не согласна расстаться со своим ребенком» – и запретила своей горничной и говорить ей об этом; но на другой день заговорила сама, а на четвертый – согласилась, не захотев и попрощаться со мною, чтоб не раздражить себя. Лизавета Дмитриевна была очень нервна и, по ее словам, «не могла сносить таких сцен». А ларчик просто открывался: во-первых, денежные траты на меня были ей тягостны, а во-вторых, у нее была уже новая интрига… Большая часть девушек, свернувших с дороги, весьма часто быстро впадают в новые искушения. Притом, кажется, не подлежит сомнению, что девушки, после известного происшествия переменившие прежнее место жительства на такое, где их тайна неизвестна, борются против искушений гораздо дольше (а иногда и целую жизнь), чем девушки, оставшиеся там же, где случилось происшествие. Примером сказанного может отчасти служить Лизавета Дмитриевна. До тех пор, пока в N. прошлая жизнь ее была неизвестна и о ее поведении не ходили двусмысленные слухи, она в течение целого года пребывания в N. не слыхала со стороны мужчин никаких грязных предложений; сближение ее с Верховским было вполне добровольное и вызвано ею же. Когда же, благодаря болтливости прислуги и наблюдательности старых сплетниц, недавняя тайна ее стала известна, ей в полтора месяца пришлось выслушать десяток таких предложений. Соперничества Верховского никто не опасался, потому что при рассказе о пассаже с Лизаветой Дмитриевной прибавлялось, что Верховский к ней равнодушен. Последний в самом деле всегда в обществе мало занимался гувернанткой и часто уезжал надолго из N. В числе претендентов на любовь Лизаветы Дмитриевны был и муж благодетельницы ее, у которой она жила гувернанткой, отставной председатель какой-то палаты, коллежский советник Меркурий Стратилатович Бубов. Старый ловелас до роковой тайны смотрел на нее, как лисица на виноград в известной басне Крылова, а по разоблачении ее сделался храбр до отваги, и претензия его увенчалась успехом. В связь эту Лизавета Дмитриевна вступила вскоре после своего выздоровления, но Верховский узнал об этом тогда,

когда я был уже с его женою в деревне. Антонина Васильевна, принимая меня, не забыла взять и документы о моем рождении. Чтоб навсегда покончить в своем рассказе с Лизаветою Дмитриевною, я думаю сразу рассказать про нее все, что мне известно. Интрига ее с Меркурием Стратилатовичем кончилась очень плачевно: госпожа Бубова, молодая еще женщина, державшая мужа, как говорится, в ежовых руковицах, узнав о его похождениях, подвергла старика строгому домашнему аресту, а новую Клариссу[14] с бесчестием выгнала из дома. Это ввергло Лизавету Дмитриевну в очень бедственное положение; прежние поклонники ее оставили, уроков она не находила, все ценные вещи вскоре были или проданы, или заложены. Тогда она решилась прибегнуть к денежной помощи Верховского. По первым письмам он высылал ей деньги без всяких нотаций, в последний же раз он дал с условием, чтоб она уехала из N., что и было выполнено Лизаветой Дмитриевной. О дальнейшей судьбе ее я ничего не знаю.

В этом месте Ховский приостановился и попросил позволения отдохнуть.

8

– Переехав в деревню, – продолжал свой рассказ Ховский, – Антонина Васильевна прожила там около восьми лет, окружая меня самою нежною заботливостью и сосредоточивая на мне всю любовь своего нежного женского сердца. Я рос очень туго, позднее других детей стал лепетать, ползать и ходить, но я не могу вспомнить без особого удовольствия, что первый мой лепет был обращен к Антонине Васильевне со словом «мама», произнесенным, как она мне передавала, так серьезно, как будто я понимал весь священный смысл этого слова и отношения свои к той, к кому я обращал их… Слабые дети обыкновенно бывают плаксивы и капризны. Я тоже владел этими наклонностями в высшей степени, но только тогда, если мне не случалось видеть по часу и более Антонину Васильевну. Присутствие же ее делало меня кротким и послушным. У меня в детстве было много игрушек, картинок, но самым любимым моим созерцанием было рассматривание кроткого лица моей названой матери. Антонине Васильевне было тогда всего двадцать четыре года, и она со своим бледным античным лицом, в черном платье, с распущенными русыми волосами, походила на какое-то высшее существо и была в самом деле так хороша собою, что никакая красавица на картинке не могла соперничать с нею. Моя привязанность к ней, при отчуждении от нее мужа, делала из меня для Антонины Васильевны самый дорогой и любимый предмет, которому она посвятила себя всю. Антонина Васильевна не была знакома с современными методами педагогики и вообще была не сильна в ней, но там, где недоставало знания и опыта, она заменяла этот недостаток терпением и любовью к делу. Учить грамоте она начала меня рано, на шестом году, до этого же времени я учил наизусть молитвы, рассказывал со слов ее события из священной истории, содержание каждого воскресного Евангелия, учился счету на яблоках, грушах, вишнях, орехах и проч. Общее настроение моего воспитания было на религиозный лад. Чтоб сделать из меня нравственного человека, Антонина Васильевна по преимуществу развивала у меня элемент совестливости и довела это чувство до высокой степени, что принесло мне вред, сделав чересчур впечатлительным и отчасти сантиментальным. Но Антонина Васильевна заслуживает глубокой признательности за то, что она не подчиняла меня тому настроению мистицизма, в котором находилась сама. Жизнь моя в деревне при Антонине Васильевне была так хороша и светла, что и через много лет я не мог иначе представить в своем воображении рай, как в виде сада Верховских, в деревне, где я гулял с нею…

Но и в этом счастливом детстве моем бывали мрачные дни – когда в деревню приезжал отец. Он гостил недолго, от трех дней до недели, но время это казалось мне бесконечными годами. Строй жизни нашей совершенно переменялся: кроватка моя выносилась из спальни

[14] Кларисса – героиня одноименного романа С. Ричардсона, честная девушка, бежавшая из дома со своим возлюбленным.

матери и я не смел свободно бегать и резвиться по комнате, а прятался где-нибудь в девичьей или людской… Верховский принадлежал к тем до ригоризма себялюбивым личностям, которые требуют любви женщины к себе до гробовой доски, хотя бы они сами бросали их и поступали против них даже зверски. Известие, что такая-то, брошенная им, женщина до сих пор страдает о них, льстит их самолюбию и вызывает пошлую самодовольную улыбку, и, наоборот, слух, что она вышла замуж, полюбила или принадлежит другому, вызывает желчь. Верховский никак не мог простить моей матери связи ее с Бубовым, не потому чтоб он находил этот поступок безнравственным, а вследствие оскорбленного самолюбия да предположения, что кто-либо может подумать о нем как об оставленном или променянном любовнике. И это чувство озлобления против моей матери было так сильно в Верховском, что он не мог и на меня смотреть равнодушно. Но так как открыть настоящую причину этого нерасположения ему было совестно перед женою, то он начал мучить меня придирками ко всякой детской шалости, из которой выводил самые ужасные заключения о будущих моих наклонностях, и в порыве злобы запретил мне показываться ему на глаза и называть себя отцом. Самую приверженность ко мне Антонины Васильевны он перетолковал в невыгодную для себя сторону, как доказательство ее холодности к нему, потому что если б она страстно любила его, то чувствовала бы невольное отвращение к ребенку своей соперницы, любовницы мужа. Своему изгнанию, впрочем, я не особенно огорчался: для меня вовсе не составляло приятности слушать расточаемую мне Верховским брань и угрозы и даже переносить побои. Я не чувствовал к нему любви, какую старалась внушить мне Антонина Васильевна, но я и не ненавидел его, а только боялся. Я считал Верховского даже за какое-то высшее существо, но злое, вроде злого гения, который от времени до времени, по обязанности, являлся мучить нас. Запрещение Верховского называть себя отцом и изгнание меня из парадных комнат породили между прислугою, не бывшей свидетельницей городских происшествий, в деревне и в окрестностях ее, между соседними помещиками самые нелепые слухи о моем рождении: говорили, что я незаконнорожденный сын не Верховского, а Антонины Васильевны; прислуга, приехавшая из города, по любви к своей барыне, всеми силами, конечно, старалась опровергнуть сплетни, но ей не верили, по людской склонности верить скорее в дурное, чем в хорошее. Приезжая в нашу деревенскую церковь к обедне, соседи рассматривали меня с любопытством, находили большое сходство с Антониной Васильевной, хотя, понятно, у меня нет ни одной черты лица, похожей на нее; а когда я был один, то не без иронии, с сладенькою улыбочкой спрашивали меня, кто мой папенька? Я отвечал, согласно приказанию Верховского не называть его отцом, что у меня нет отца, а есть только одна мама. Фразу эту я говорил с глубоким убеждением: детский ум мой никак не мог сочетать идеальное представление об отце, которое создало мое воображение, с действительностью, в лице Верховского, и детский ум мой протестовал против признания его отцом. Он был для меня владыка, доставляющий средства к жизни; мне говорили, что все окружающее меня принадлежит отцу, и я считал себя обязанным повиноваться ему, быть его рабом, но любить его – как мать – я не мог. В моих ушах как-то странно звучало слово «папа», когда им называли Верховского. Я сказал, что меня не особенно огорчало изгнание меня из парадных комнат; мне было совестно только перед прислугою, но лично запрещение называть Верховского «папа» облегчило мою совесть. Антонина Васильевна, замечая загадочные мои чувства к отцу, говорила, что не любить отца – грех. Теперь же грех этот спадал, и в голову упорно засела мысль, что у меня нет отца, что есть какая-то тайна, как я родился, или у меня одна только мать. Антонина Васильевна же, не зная, чем оправдать действия против меня Верховского, всегда избегала разговора об этом предмете со мною.

С девятого года я вступил в новый период жизни. Верховский в это время получил то богатое наследство, о котором я говорил, и для известных ему целей и соображений звал свою жену в N. Оттуда, уже впоследствии, он перешел на службу сюда, в Петербург. Относительно меня он прислал жене распоряжение, чтоб она не брала меня с собою, а оставила в деревне, в

доме приказчика. Этого приказания мужа, может быть в первый раз в жизни, Антонина Васильевна не послушалась и распорядилась по своему усмотрению: она побоялась везти меня в N. и, вместо этого, отвезла в ближайший к имению губернский город О. и поместила у одного учителя гимназии, своего бывшего знакомого, в то время человека женатого, окруженного тремя малолетними сыновьями, моими сверстниками. Разлука с Антониной Васильевной так была тяжела для меня, что я буквально заболел, перенес горячку, затем продолжительную лихорадку. К счастию, я попал в семью добрую, заботливую и уважавшую Антонину Васильевну. Болезненное состояние некоторое время мешало правильному ходу моего учения, но одиннадцати лет я все-таки поступил прямо во второй класс гимназии, а семнадцати – кончил курс. Антонина Васильевна переписывалась со мною очень часто, не менее двух раз в месяц; у меня теперь масса ее писем, целая большая шкатулка, которые я храню, как святыню. Виделся я с нею весьма мало, всего два раза: при переводе в третий класс и в шестой. Мы провели время в деревне; Верховский же уезжал за границу. По мере того как я становился старше, я все яснее и яснее стал понимать свое положение и готовившуюся мне участь, если б в судьбе моей не приняла участие Антонина Васильевна. Поэтому моя детская бессознательная привязанность к названой матери становилась осмысленной и перешла в глубочайшее уважение к ней, доходившее до обожания. Но мои сведения о всех приносимых для меня ею жертвах были еще далеко не полны: я не знал, каких самопожертвований и нравственных унижений стоило Антонине Васильевне доставление мне воспитания. Я узнал об этом уже по окончании курса в гимназии. Я думал, что так или иначе, но я воспитываюсь на средства Верховского, то есть что или он выдает жене деньги на воспитание меня, или она, как жена, бесконтрольно распоряжается известными суммами. Это было вовсе не так: в доме Верховского были другие порядки. По отдаче меня в О., на квартиру к учителю, Антонина Васильевна, прибыв в N., не тотчас сказала об этом своему мужу, а впоследствии, когда, как ей казалось, он был в хорошем расположении духа. Верховский действительно за этот поступок не бранил жену и не бесился, а только заметил: «Черт с ним. Делай что хочешь, если у тебя есть средства. Я уверен, что из этого ничего не будет: мальчишка, видимо, негодяй и кончит жизнь на каторге. Пожалуйста, ни полслова более о нем. Я не хочу знать о его существовании». Антонина Васильевна принуждена была замолкнуть и изыскивать средства для отсылки денег учителю за мое учение и содержание. Она приготовлялась выслушать от мужа брань и неприятности, но не ожидала встретить отказ в деньгах… Даже выслушав его, она подумала, что это со стороны Верховского не более как каприз, упрямство, и предполагала, что чрез несколько времени он сам заговорит о деньгах. Поэтому она не теряла надежды, сделала секретно заем и отослала деньги. В первый же раз, при отдаче на квартиру, она заплатила годовую плату вперед из своего скромного капитала, сбереженного за много лет, который и был весь израсходован. Антонина Васильевна в доме своего мужа имела значение менее всякой экономки. Хозяйством и прочим в доме заведовали другие, определенной суммы в свое безотчетное распоряжение она не получала. Муж выдавал ей деньги только в редких, исключительных случаях, например на подарки ей и прислуге пред праздниками или уезжая куда, незначительным кушем, так как на содержание отпускались деньги камердинеру и экономке. Правда и то, что Антонина Васильевна была очень неопытна и не была приучена к самостоятельному управлению таким большим домом, как Верховского. Но распоряжение мужа ей было вовсе не по сердцу; она считала своей обязанностью заботиться об интересах мужа и несколько раз уговаривала его дозволить ей взять на свою ответственность управление хозяйством, хотя в первое время – под надзором опытной экономки. Верховский стоял на своем, жарко целовал жену и божился, что он никогда не допустит ее, такое чистое и нежное создание, к прозаическим заботам и не намерен делать из нее ни экономку, ни кухарку. Далее между ними уже пошли неприятности, Верховский упрекал ее в нищенстве, и она боялась требовать отдачи ей в руки хозяйства, чтоб избежать грязных подозрений в желании пользоваться его средствами для собственных выгод. Я не приписы-

ваю поступков Верховского с женою скупости или предвзятому намерению стеснить ее; скорее всего, он действовал так по невнимательности к ее положению, а может быть, он рассуждал, что у нее все есть, следовательно, ей денег ни на что не нужно, тем более что он открыл ей кредит в нескольких модных магазинах, где она могла забирать вещи и платья на какую угодно сумму, которую Верховский уплачивал по счетам всегда беспрекословно и без выговоров жене за излишние расходы. Но положение человека, лишенного возможности располагать деньгами по своему произволу, очень тяжело, несмотря даже на окружающую его блестящую обстановку. Содержание меня средним числом обходилось всего рублей 350 в год; деньги эти должны были высылаться в два срока, по полугодиям. Чтоб достать такие ничтожные, по состоянию Верховских, деньги, как 175–200 рублей, Антонина Васильевна, при наступлении сроков высылки, ломала голову, мучилась, терзалась. Она продавала свои старые платья, вещи, закладывала бриллианты, иногда брала у бриллиантщиков брошки, ожерелья, серьги и перепродавала их, подвергая себя подозрению мужа, могущим выйти сплетням и другим неприятностям. Антонина Васильевна не придерживалась принципа, что «цель оправдывает средства», а потому эти ее ухищрения казались ей чем-то нехорошим и заставляли переносить большие нравственные мучения, но любовь к покинутому ребенку превозмогла все…

Учитель, у которого я жил на квартире, был человек глубоко преданный своему делу и серьезный. До пятого класса я читал очень мало, и то книги детского содержания; будучи же в этом классе и случайно взяв несколько книг из библиотеки своего учителя, я заинтересовался ими, и вскоре чтение их стало любимым моим занятием. Я быстро развился, стал серьезен и любил подвергать строгому критическому анализу как свои действия, так и действия встречающихся со мною людей. Эта наклонность доставила мне много горя в жизни и, между прочим, послужила к столкновению с самолюбием Верховского, как вы сейчас услышите. По окончании курса О-ской гимназии я, списавшись с Антониной Васильевной, приехал в N., где она жила тогда с мужем, чтоб поступить в тамошний университет по историко-филологическому факультету. Антонина Васильевна была в восторге от блестящего окончания мною курса и от надетого мною студенческого мундира и задалась мыслью сблизить во что бы то ни стало меня с отцом. Ей всегда казалось, что удобнее всего это будет сделать, когда я окончу курс. Она решилась не щадить ни просьб, ни слез, ни убеждений, но в успехе она сама не была уверена. Между тем дело обошлось благополучно. На Верховского нашел благодушный порыв, и он соблаговолил дозволить мне бывать в его доме, конечно, пред его знакомыми и домашними – в качестве постороннего, при этом он обещал жене дать мне денежные средства для получения дальнейшего образования, простил ей те ухищрения, которые она для меня изобретала, и вместо проданных ею вещей накупил ей новых. В доме Верховских меня никто не знал, кроме молчаливого Прокофьича, да и тот по старости не узнал меня; вся же остальная прислуга была новая – наемная. Компаньонкой при матери состояла госпожа Кардамонова, с которой Верховский в то время только что прервал отношения. Я шел в дом Верховских с крайне стесненным сердцем, неохотно исполняя лишь просьбу Антонины Васильевны. Верховский произвел на меня неприятное впечатление. Я сразу определил, что это за человек, и нисколько не ошибся. Антонина Васильевна встретила меня на пороге залы, как только я вошел в переднюю. Она знала о времени моего прихода и ждала. Глаза ее светились радостью, щеки горели ярким румянцем; одетая в свой праздничный костюм, белое легкое платье, Антонина Васильевна была так хороша, что я невольно посмотрел на нее с изумлением. Поздоровавшись со мною, она побежала сама известить о моем приходе мужа и, возвратившись, позвала в его кабинет. Верховский сидел в кресле, спиною ко мне, но при моем приходе привстал, подал руку и выдвинул вперед губы для поцелуя. Мы поцеловались.

– Я много виноват перед вами, молодой человек, – сказал он, не выпуская моей руки, – хорошо, что жена моя поправила мою ошибку. Надеюсь, что мы будем друзьями. Садитесь.

Верховский стал расспрашивать меня о моих делах и планах, но в тоне его вопросов не звучало ни малейшей нотки родственного участия и сердечной симпатии. Это был барин, который, отпуская из кабинета, вручит деньги и скажет: «Ну, слава Богу, отделался». И для чего творилась вся эта комедия – я не знаю. Антонина Васильевна или, вероятно, ждала от этого примирения другого, или была о своем муже лучшего мнения, чем какого он заслуживал. После расспросов Верховский принялся за восхваление достоинств своей жены и начал речь о том уважении, какое я должен к ней чувствовать за оказанные мне благодеяния, распространялся о тех жертвах, которые переносила Антонина Васильевна для снискания средств на мое образование. Я слушал эту часть его речи с живейшим любопытством, так как эти подробности мне были в то время неизвестны, но, насколько я был обязан его жене, я понимал лучше его. «О родной вашей матери я говорить не буду», – сказал Верховский, после чего стал бранить ее пустою и ветреной женщиной и для чего-то отдал мне прочесть всю ее с ним переписку. Беседа кончилась, как я и ждал по началу приема, вручением мне толстого пакета со вложением тысячи рублей, от принятия которого я не имел никакой возможности отказаться. Деньги эти были мне так неприятны, что, пришедши на квартиру, я бросил их в стол, не распечатывая пакета. Прощаясь со мною, Верховский просил бывать у него без церемонии, навещать Антонину Васильевну и пригласил на другой день к обеду. В зале я опять встретил ожидавшую меня Антонину Васильевну; по лицу моему она догадалась, что свидание с отцом не доставило мне удовольствия; она успокаивала меня надеждою на будущее, говорила, что со временем все прекрасно устроится, просила меня быть только твердым и не придавать мелочам особого значения. При этом она взяла с меня слово быть у них непременно завтра. Я дал его и поскорее распрощался. Деньги, полученные от Верховского, жгли меня… Я шел по улице, словно потерянный. До этого свидания я Верховского не любил, но никогда я так его не ненавидел, как после свидания. Прежде я думал, что он вооружен против моей матери, что, может быть, и в самом деле ему не сын, или он не убежден в этом, или что его гнев на меня напускной, ложный, что ему хочется показать себя мужественным, с твердым характером, но что порою внутренне ему и жаль меня. Теперь же я увидел, что этому человеку недоступно никакое человеческое чувство. Но для Антонины Васильевны я был готов на все, а потому стал бывать у Верховского.

К счастию моему, встречи мои с Верховским были не особенно продолжительны и он часто уезжал из N. В это время я бывал у него в доме почти каждый день: я читал Антонине Васильевне, она играла на рояле, иногда пела, и мне вспомнилось мое детство. Присутствие Кардамоновой, скромной и малоразвитой личности, привязанной к Верховской, не стесняло наших бесед, хотя она с изумлением замечала, что Антонина Васильевна почему-то обращалась со мною как с сыном, а я с нею – как с матерью. Но Верховский и здесь явился злым демоном. Разъезжая по разным губерниям для закупки лошадей для полка, он где-то встретился с госпожой Люсеваль и завел с ней интригу. Привыкнув всегда к легким и скорым победам, Верховский со стороны Люсеваль встретил упорное сопротивление; это доводило его до бешенства, и, возвращаясь домой озлобленным, он, по своему обыкновению, срывал свой гнев на жене. На меня Верховский смотрел также косо и недружелюбно. Ненависть моя к нему усиливалась. Однажды, в один из своих приездов, Верховский был особенно придирчив к жене, невзирая на присутствие мое и Кардамоновой, и сделал нас свидетелями не только словесных обид, какие он позволял себе наносить Антонине Васильевне, но и ударов. Рассердившись на какое-то, в сущности, самое кроткое замечание жены, он бросил в нее лежавшую на рояле большую переплетенную тетрадь нот. Антонина Васильевна выбежала из залы в свою комнату; Кардамонова последовала за нею. Мы остались одни.

– Что вы делаете? – вскричал я невольно.

– А вам какое дело? – спросил он грозно.

– Так нельзя обращаться с женщиною.

– Вон, – повелительно крикнул Верховский, указывая на дверь. Я последовал указанию, весь красный от стыда и со стиснутыми от злобы зубами.

– Чтоб мешаться в чужие дела, – заметил он внушительно и как бы останавливая меня для разговора, когда я уже проходил залу, – нужно знать их. Вам неизвестно, кто была моя жена! Она была жалкая комедиантка, которую я из сострадания вытащил из грязи.

– Это неправда! – отвечал я ему твердо, дрожа весь от гнева и внутреннего волнения, остановившись на пороге залы. Историю женитьбы Верховского я знал очень подробно от своего о-ского учителя. – Вы находитесь, – продолжал я, обращаясь к Верховскому, – в большом заблуждении относительно своей женитьбы. Антонина Васильевна, может быть, вовсе не любила вас. Это вам угодно воображать и рассказывать. По молодости она поверила вашим клятвам, она испугалась ваших угроз – прибегнуть к самоубийству, если она откажет в своей руке. Она тронулась вашим положением по доброте своего сердца. Не вы из сострадания на ней женились, а скорее она из сострадания вышла за вас замуж. Она вовсе не была жалкой комедианткой, а, напротив, даровитой актрисой, с блестящей будущностью. Ни из какой грязи вы ее не вытаскивали, а запрятали хуже, нежели в тюрьму. Быть вашею женою – это такое…

Я не успел кончить: Верховский бросился на меня как тигр, схватил рукою за горло и, может быть, задушил бы, если б из передней не вошел Прокофьич. Произошла ужасная сцена. Верховский не привык, чтоб с ним говорили таким тоном. В бешенстве он топал ногами, рвал на себе сюртук и осыпал меня бранью. Прокофьич просил меня, ради Бога, скорее уйти. Без меня сцены были еще ужаснее, и жертвою их была, по-прежнему, несчастная жена. Что перенесла в тот вечер Антонина Васильевна – это превышает всякое описание. Полагая, что все мною высказанное я узнал из жалоб жены, он потребовал шкатулку Антонины Васильевны, перечитал мои письма, рвал их, придирался к выражениям и запретил ей вести со мною когда-нибудь и какую бы то ни было переписку. Он называл меня змеею, согретою у себя на груди. Ко мне в тот же вечер Верховский прислал длинное, наполненное всякими ругательствами послание, приказывая немедленно убираться из N. и забыть навсегда о нем и его жене. В ответ на это я с тем же посланным отправил к нему подаренный им пакет, который я и не распечатывал. Антонина Васильевна, со своей стороны, прислала мне на другой день чрез Кардамонову коротенькое письмецо, в котором умоляла меня для ее спокойствия уехать из N., но дать ей знать, где я буду находиться. О том, что я сын Верховского, она Кардамоновой не говорила, и та едва ли знает это, точно так же как и Люсеваль, и в настоящее время.

Приказание Верховского – выехать из N. – я вовсе не думал исполнить, но просьба Антонины Васильевны заставила меня повиноваться. Я тотчас же по получении ее письма подал ректору университета прошение об увольнении и стал приискивать себе частное место в отъезд, чтоб скопить деньги для поступления вновь в какой-либо другой университет. Поиски мои, благодаря посредничеству товарищей, увенчались успехом в самом непродолжительном времени: я получил место домашнего учителя в деревне, у одного вдовца-помещика в Ч. губернии, где пробыл около двух лет, а оттуда перешел в близкий к деревне Z-ский лицей, в котором и окончил курс в текущем году. В Z. я жил совершенно обеспеченно материальными средствами, приготовляя двух своих бывших воспитанников, сыновей вдовца-помещика, в лицей. Сам он в то время задумал вступить во второй брак, и присутствие полувзрослых сыновей его стесняло…

– Я задержал вас, – отнесся ко мне рассказчик, прерывая свое повествование, – слишком подробным изложением всех обстоятельств, предшествовавших катастрофе. Сознаю, что многое, может быть, для вас безынтересно, но извините меня: я не мог удержаться от тех воспоминаний, которые воскресают сами собою в моей голове при рассказе. Но я уже все передал вам. Мне осталось описать вам только один день – тот, в который я совершил преступление…

Странное дело – у меня образовалась решительная антипатия к этому молодому человеку. Мне казалось, что он рисуется, что он живописует несчастия своей жизни особенно чер-

ными красками с целью произвести на меня впечатление, что он если и привык к анализу, то к анализу в свою пользу. Весь рассказ его звучал тоном защитительной речи адвоката, который решился во что бы то ни стало отстоять своего клиента и который, истощив все аргументы, в заключение воскликнул: «Господа присяжные! У меня пятеро детей, которых я люблю со всею нежностью; но пусть я не увижу их, пусть они погибнут сейчас все до единого, если подсудимый виновен». Впрочем, я старался молча его слушать и ничем не выказывать ему моего чувства.

9

– Горькая правда, высказанная мною в лицо Верховскому, – продолжал свой рассказ Ховский, – не заставила его одуматься и сделаться справедливее к окружающим, а, напротив, только раздражила его и причинила много неприятностей Антонине Васильевне, еще более ухудшив ее и без того тяжелое положение рядом с озлобленным супругом. Я глубоко жалел ее, проклиная свою безрассудность и горячность. Верховский стеснил еще более прежнего свою жену и запретил ей всякую переписку, в особенности со мною. Запрещение это, с одной стороны, могло не иметь никакого значения и ограничиться одними словами, так как Верховский редко следил за исполнением своих приказаний. Но, с другой стороны, ослушание было опасно: Верховский был подозрителен и самодур. Ему могла прийти мысль справиться о том, исполняется ли его приказание, и если б он нашел хоть строчку, то в запальчивости мог наделать невесть что. Последнее предположение даже подтвердилось фактически. Верховский раза три, при ссоре с женою, перебирал ее шкатулку, надеясь найти в ней мои письма, чтоб иметь предлог к буйству, но ничего не нашел. Поэтому, опасаясь подвергнуть своею перепискою Антонину Васильевну неприятностям, я долго колебался перед отправкой первого письма и затруднялся адресом: послать ли мне его на имя Прокофьича или Кардамоновой? Первый страшил меня своею привязанностью к барину и замеченным мною нерасположением ко мне; во второй я также не был уверен. Наконец я решился употребить хитрость; я написал письмо не к Антонине Васильевне, а прямо к Кардамоновой, весьма короткое, как к знакомой, и приложил свой адрес, в предположении, что она сообщит об этом Верховской. Письмо достигло своей цели: спустя некоторое время я получил и ответ Антонины Васильевны. Между прочим, она извещала меня в нем о скором выезде своем с мужем в Петербург на постоянное местожительство. В этом же ответе, между прочим, я прочел, что ей гораздо легче отсылать ко мне письма, чем получать. Тогда я решился писать ей очень редко, не более раза-двух в год, и просил ее, чтоб она, ради предосторожности, сжигала мои письма. Поэтому вы и не нашли их в ее шкатулке при следствии. Второе письмо было отправлено ею уже из Петербурга и было крайне грустного содержания. Антонина Васильевна удостоивала меня полной дружбы и откровенности. Она уведомляла о приезде Люсеваль, о характере этой особы и о ее деспотизме в отношении к ней, горько сетовала на свою судьбу и на незаслуженные от нее удары. У меня сердце обливалось кровью, читая ее жалобы. Но в следующих письмах и они улеглись. Судя по содержанию этих писем, Антонина Васильевна предалась религиозному настроению и решилась сносить дальнейшую свою участь безропотно… Письма ее были коротки, носили печать покорности судьбе, но в них было что-то болезненное, тяжелое. Они причиняли мне невыразимые мучения, потому что я ничем не мог облегчить ее страданий. В последних письмах она стала высказывать желание видеться со мною, просила, чтоб я по окончании курса приехал в Петербург. В это же время она писала мне и о вас как о единственном человеке, в разговоре с которым она отдыхает душою.

Помимо желаний Антонины Васильевны, мне пришлось по личным моим делам побывать в Петербурге. О дне своего приезда я уведомил ее, послав ей в письме Кардамоновой коротенькую записочку.

Я приехал в Петербург в самый день происшествия, пятнадцатого сентября, часа в два после обеда, по Николаевской железной дороге, и остановился в первой попавшейся мне гостинице. Грязный и темный нумер, выходивший одним окошком во внутренность двора, наводил скуку, а шум и грохот невиданной столицы манил взглянуть на нее. Я потребовал чаю, переоделся и вышел побродить по Петербургу без всякой цели, и пробродил часа три, отложив дела и свидание с Антониной Васильевной до завтра. Вдруг, возвращаясь домой, я нечаянно взглянул на один угловой дом и прочел на прибитой на нем дощечке надпись: «Петровская улица».

– А где же Павловская улица? – спросил я стоявшего на углу городового.

– Идите вот, – отвечал он мне, – по Петровской, следующая, которая будет пересекать, и будет Павловская.

Пойду – мелькнуло у меня в голове – взгляну, где живут Верховские, посмотрю на дом. И я повернул по указанию городового. При этом сердце у меня забилось так тревожно и учащенно, как будто я готовился к решению своей судьбы. Я шел тихо, шаг за шагом, потупя голову и предаваясь воспоминаниям о своем детстве. Вспомнилась мне моя маленькая кровать в спальне Антонины Васильевны, она, читающая книгу, прогулки в саду и разговоры о рае, приезды Верховского, его нападки на меня и защита его жены, наконец, постоянное ее нежное попечение и те невзгоды, которые она переносит от мужа… Все это так расстроило мои нервы, что, идя по улице, я плакал как ребенок… В таком настроении я забыл смотреть на нумера домов, и когда, пришедши в себя, отер влажные глаза и приподнял голову, то увидел, что давно уже прошел мимо Павловской улицы и что мне нужно возвратиться назад. Я знал из писем Антонины Васильевны, что Верховские занимают в доме № 29/17 квартиру в бельэтаже и что при ней есть балкон, дверь которого ведет в залу. Я вздрогнул, увидев, при приближении к этому дому, на балконе какую-то даму, сидевшую в кресле. Она была одета в платье серого цвета. «Неужели это Антонина Васильевна?» Я стал смотреть очень пристально, перешел для того на другую сторону улицы, но становилось темно, и разглядеть ясно черты лица было довольно трудно. Мне казалось, что это она, но я боялся ошибиться и попасть на незнакомую мне Люсеваль. Кардамоновой я мало опасался. Я остановился в раздумье на тротуаре против балкона. Дама нечаянно на меня взглянула. «Да, это Антонина Васильевна», – утвердительно подумал я и, почтительно поклонившись ей, стал переходить чрез улицу по направлению к балкону, не покрывая головы, чтоб дать ей возможность разглядеть черты моего лица.

– Коля? – сказала она вопросительным тоном, вполголоса, перегибаясь чрез решетку балкона.

– Я, – отвечал я ей.

Антонина Васильевна всплеснула руками, немного засуетилась, оглянулась на дверь в залу и быстро проговорила:

– Иди прямо в подъезд по лестнице, во второй этаж. Я буду ждать.

Я с некоторой робостью, осторожно отворил дверь подъезда; швейцара не было. Антонина Васильевна уже стояла на верху лестницы бельэтажа.

– Как я рада, что вижу тебя, что ты приехал… Здоров ли? Должно быть, сильно занимался, бледный. Но как ты возмужал! – бессвязно восклицала Антонина Васильевна, в то время как я жаркими поцелуями осыпал ее лихорадочно дрожавшие руки.

– Знаешь что? – сказала она, что-то обдумывая. – Мы так давно не видались! Мне сильно хочется переговорить с тобою. Подожди еще. Я проведу тебя в комнаты. Только подожди минуту… – С этими словами она ушла. Я остался на месте.

– Иди! – шепнула Антонина Васильевна, растворяя дверь в переднюю.

Как только я вошел, она заперла ее на задвижку, осторожно заглянула в залу и знаком пригласила следовать за ней. Мы едва прикасались к полу, быстро сделали несколько шагов по зале и вступили в незнакомую мне комнату, которую я, по обстановке, счел за кабинет и спальню Верховского.

– Ну, – сказала Антонина Васильевна. – Мы прошли, кажется, благополучно: никто не видел.

Двери я запру. Не знаю, удастся ли и так счастливо вывести тебя.

Она объяснила мне, что в эти часы, если нет гостей, у них в доме всегда тишина и безмолвие, потому что это послеобеденное время: все расходятся по своим комнатам, а прислуга отправляется на кухню. Сегодня же, для того чтоб можно было принять меня, вышел особенно благоприятный случай: Верховский уехал из дому и Прокофьич куда-то ушел; торчал лакей в передней, но она и того услала. Рассказывая это, Антонина Васильевна улыбалась и хотела казаться спокойною, но я заметил ее внутреннюю тревогу.

– Вас беспокоит мое присутствие? – спросил я.

– О нет, – отвечала она. – Валериан Константинович приедет поздно, я чрез час проведу тебя обратно. Чай мы пьем на той половине. Жалею, что не провела тебя к себе. В случае чего, Боже сохрани, спрячешься за драпри или кровать, и ночью выйти очень легко: у нас подъезд никогда не запирается. В передней дверь на лестницу запирается только на болт и задвижку. Слуга спит крепко… Но расскажи мне, что ты теперь намерен делать. Когда ты приехал?

Расспросы полились рекой. Антонина Васильевна забылась и интересовалась всякой безделицей в моей жизни. Я отвечал ей как мог сжато, чтоб скорее уйти. Вдруг в передней раздался громкий звонок.

– Боже! Валериан! – вскричала Антонина Васильевна. – Мы погибли!

Повторился неистовый звонок с переливами.

– Спрячься, Бога ради! – вскричала Антонина Васильевна. Я бросился за драпри, успев только сказать ей:

– Не беспокойтесь, пожалуйста.

По коридору раздались торопливые мужские шаги. Антонина Васильевна поспешно выбежала. Не зная, куда спрятаться лучше, я залез под кровать. Разбранив в передней слугу за долгое ожидание, Верховский быстро вошел в кабинет и зашагал из угла в угол. Потом он позвал Прокофьича и приказал подать коньяк, лимон и попросить к нему Антонину Васильевну.

– Скажите, пожалуйста, – встретил он ее, – для чего вы живете у меня в доме? Для мебели? Помилуйте: я прихожу, звоню, звоню, и ни души нет! Это черт знает что такое.

– Я не знала, что ты возвратишься так скоро, и услала Филиппа.

– А кто вас просил распоряжаться с вашим куриным мозгом. От дальнейшего разговора я вас увольняю.

Право, тошно и противно передавать бессмысленные, пьяные речи его. Он часа два мучил бедную женщину, глотая в промежутках, судя по звону посуды, рюмку за рюмкой коньяк, придирался к каждому ее слову, вспоминал малейшую безделицу, которая была ему неприятна, и взводил эту безделицу в уголовное преступление. В сущности, все это было не более как мелочь и дрязги… Антонина Васильевна употребляла и просьбы, и уговоры, чтобы прекратить ссору, но усилия ее были тщетны, и она решилась заметить своему мужу:

– Ты крайне несправедлив ко мне, Валериан Константинович. Я вижу и понимаю все. Ты уедешь из дому, тебя раздражит какая-нибудь неудача в свидании с кем-нибудь, и ты вымещаешь ее на мне.

– Неудача? В свидании? С кем? Тварь! – закричал на жену Верховский.

– Валериан! Ай! – раздался голос Антонины Васильевны.

Рассвирепев от слов, попавших прямо в цель, Верховский, должно быть, так сильно толкнул свою жену, что она упала на пол, и в азарте нанес ей в лицо удар носком сапога и подбором. Лежа под кроватью, я не мог видеть этой сцены и предупредить ее, потому что она случилась моментально; но, услышав шум от падения Антонины Васильевны и крик, я понял все, что

происходит, и встрепенулся, забывая все, чтоб броситься на Верховского. Но он уже отошел от жены и, бросившись на кровать, крикнул ей:

– Вон, или я тебя убью!

Антонина Васильевна сейчас же вышла. Я остался в какой-то странной нерешимости на своем месте, приподнявшись туловищем на руках. Грудь дышала порывисто, жилки на висках бились учащенно, голова была как в огне, пальцы рук согнулись в виде когтей. О чем я тогда думал – этого я никак не могу объяснить. Это было состояние, не подлежащее никакому анализу. Пожалуй, состояние это было похоже на то, когда мы раздумываем, устремляем глаза на одну точку и кажемся со стороны мыслящими, но мысли в голове у нас нет никакой. По крайней мере мне кажется, что мысль совершить преступление зародилась в моей голове не в тот момент. У меня нет никакой цели скрываться перед вами, но даю вам честное слово, что от описанного мною момента до того, когда у меня блеснула мысль о преступлении, прошел даже значительный, почти часовой, промежуток времени, так что Верховский в продолжение его успел раздеться, надеть на себя ночное белье, выпить еще коньяку и улечься. Сам я в этот промежуток, однако, не стал покойнее; состояние мое все еще было ненормально, но все-таки как-то осмысленнее. Кровь от головы значительно отхлынула, мысли зароились, но сердце билось неровно и учащенными темпами. Настроение мое было нервно, но не желчно. Я возвратился опять к тем размышлениям о положении Антонины Васильевны, которые явились у меня на улице. Я сожалел о ней глубоко, искренно, до боли в сердце, и мучился мыслью о том, чем бы помочь ей? И вдруг внезапно, как стрела, как молния, электрическим током по мне пробежала мысль: «Да что же он! Убить его!» Вслед за тем слово «убить» я повторил еще раз, как-то вопросительно, и впал в то самое состояние бессмыслия, которое я описал выше, а в голове сквозь хаос мыслей представлялась неясно идея – убить. «Да, убить!» – прошептал я с злобным решением, как бы отвечая на вопрос, с судорожным дрожанием рук. И опять прежний хаос мыслей! Затем, помню, я стал бессмысленно приподниматься, вылез из-под кровати и остановился, пугливо озираясь, как бы в ожидании появления неожиданного свидетеля или чего-то сверхъестественного. Я рассказываю вам все мельчайшие подробности, потому что я сам прежде задавался вопросом – как совершается величайшее преступление – убийство? И на мою долю выпал жребий быть убийцей! В ушах раздавался шум и звон; сердце как будто не билось, руки остыли. Казалось, я обдумывал что-то и не решался. Что я думал – мне самому было неведомо; мысли не складывались, а между тем губы произнесли: «Антонина Васильевна скоро придет! Убью!» И это сделалось твердым решением.

В дальнейших своих действиях я не отдавал себе в те минуты отчета, но тем не менее они были тверды и в них было своего рода сознание… Я вспомнил, что на стене висит оружие… и, прежде чем подойти к драпри, я выбрал орудием смерти кинжал… Комната была освещена полуспущенной лампой, драпри раздвинуто, и слышался сильный храп Верховского, лежавшего в опрокинутой позе на спине, гробовая тишина во всем доме. Одиночество, полумрак, при моем злодейском намерении, приводили меня в ужас, но вместе с тем поддерживали мое решение. Я тихо подкрался к самой кровати, осторожно вынул из ножен кинжал и отступил, опустя руки… Но вдруг… правая рука приподнялась высоко вверх, и я со всего размаха по рукоятку погрузил кинжал в левую полость груди Верховского, оставив там орудие. Несчастный издал глухой, нечеловеческий звук… Когда же я вынул кинжал, то тело затрепетало, приподнялось и упало на ковер, обливаясь кровью… То время, пока кинжал был в груди, – две, три секунды – я был совершенно без чувств и не видел, что вокруг меня происходило; в глазах расходились разноцветные темно-зеленые, желтые и красноватые круги… Легкий, чуть слышный шорох платья и скрип двери заставили меня очнуться… В дверь выглядывала Антонина Васильевна! Я быстро бросился к лампе, задул ее и подскочил к двери, к Антонине Васильевне.

– Не входите сюда! Я вас прошу! – шепнул я ей.

– Отчего? – спросила она с испугом.

– Так… Антонина Васильевна… умоляю вас: будьте мужественны… соберитесь с силами… Не вскрикните… не выдайте тайны…

– Тайны? Какой?

– С вашим мужем случилось несчастье…

– Удар?

Она отстранила меня рукой и вышла в кабинет. Дверь осталась растворенною, и так как в зале драпри не были спущены, то в комнате было не совсем темно.

– Я убил его… – сказал я ей, оставшись на пороге.

– Убил?

И она бросилась к трупу, но, должно быть, только дотронулась до него ногой. Я тотчас же подскочил к ней и усадил в кресло.

– Боже! Боже! Что ты наделал?!! Он твой отец! – проговорила она, всплескивая руками.

С ней случился легкий обморок. Я целовал ее руки; говорил ей о том, как я люблю ее, как невыносима мне была мысль, что она всю жизнь свою страдала, что чем далее, тем больше страданий выпадало ей на долю. Я говорил шепотом, судорожно рыдая.

Антонина Васильевна не отвечала; обхватив руками мою голову и приложив к ней свои щеки, она тихо рыдала. С самого начала, когда у меня родилась мысль об убийстве, до слов своих после обморочного состояния Антонины Васильевны я не думал о последствиях преступления. Тут же мне вдруг пришло в голову не только это, но и опасение – как бы в убийстве не замешалось имя Антонины Васильевны.

– Я должен сейчас же заявить, – сказал я, – что это сделал я.

– Нет! Не делай этого! – быстро заговорила она, ломая руки. – Ты погибнешь. Мне жаль его. Но я не перенесу твоего несчастия. Нет! Беги! Спасайся! Тебя никто не видел, как ты вошел. Молись за своего отца. Проси Бога день и ночь, чтоб он простил тебе твой грех. Посвяти жизнь свою добрым делам. Я тоже буду молиться. Сибирью не спасешься… Беги же… Беги скорее! Осторожнее, чтоб кто тебя не увидел…

– А ты?

– Обо мне не беспокойся. На меня никто не подумает. Я невинна. Я ничего не знаю. Беги же…

И она, плача и дрожа, держала меня в своих объятиях и поминутно повторяла:

– Боже мой, Боже мой!

Вдруг она отшатнулась от меня:

– Убийца! Отца убил!

Я протянул к ней руки, но она отвернулась и, шатаясь, вышла в залу. Я тихо шел за нею. Силы, очевидно, оставляли ее. Что-то скрипнуло… быть может, один из тех ночных звуков, происхождение которых трудно объяснить. Я так и замер на месте, а она… у ней вдруг опять проявилась энергия; она бросилась ко мне, схватила меня за руку и с силою повлекла к выходу…

Выйдя на улицу, я скоро продрог. Голова немного освежилась. Я взглянул на свои руки, совершившие убийство: они были покрыты кровью; на пиджаке были кровяные пятна. Это заставило меня идти не прямо в гостиницу, а поторопиться к видневшейся вдали набережной, чтоб обмыть руки и замыть платье, что я и сделал на одном из спусков к реке. В кармане у меня был портсигар с папиросами и спичками; я закурил и пошел бесцельно по набережной далее. Помню, я шел долго, потом был мост, опять улицы, опять мост, еще улицы, и я очутился в Петровском парке, где было все тихо и уединенно. Я забрел в одну беседку, прилег на лавочку, курил, ходил, о чем-то думал, но о чем именно – не знаю… Шум проснувшейся городской жизни, стук экипажей напомнили мне, что преступление мое обнаружено, что в доме Верховских уже теперь, вероятно, суета, плач, следствие… Я задрожал…

– Подавать? – окликнул проезжавший мимо меня по большой аллее легковой извозчик.

– Подавай.

– Куда прикажете?

Я сказал адрес гостиницы. Дорогой я спросил извозчика, в какие часы отходят из Петербурга поезда железных дорог.

– Какую вам нужно? Московская идет часов в двенадцать, Варшавская – через час.

– А за час ты успеешь свезти меня до гостиницы, чтоб взять вещи и довезти до Варшавского вокзала?

– Ничего, только полтора рублика это будет стоить.

Я согласился, – таким образом, я поехал в Варшаву, основываясь лишь на словах извозчика, что поезд идет туда скоро. Собственно же к поездке в этот город меня не влекли никакие соображения, кроме того, чтоб уехать поскорее из Петербурга, и если б в ту пору вместо Варшавы отправлялся поезд в другой город, я также бы поехал туда. Во время переезда в Варшаву и в продолжение полутора недель житья там я находился в состоянии, близком к идиотизму: я гулял, ел, пил, спал, даже искал места, думал отчасти о своем преступлении, об Антонине Васильевне, но все это как-то вяло, бессознательно. Может быть, вы думаете, вы и вправе заключить это, – что до объявления вам о преступлении у меня была с собой внутренняя борьба между чувством самоохранения и привязанностью к Антонине Васильевне и что это-то и руководило моим отъездом и пребыванием в Варшаве. Да, не спорю, может быть… Психологически это в порядке вещей… Но ясно это мне не приходило в голову, и я об этом, говорю вам как честный человек, не думал. Мысль об этом явилась гораздо позднее, в конце второй недели житья в Варшаве, но и здесь она выразилась не в той форме. Самоохранение заставляло только колебаться – объявить о преступлении, подвергать мать подозрению или надеяться, что дело кончится благополучно… Когда же в одно утро туман с глаз моих спал, я тотчас же бросился в Петербург узнать, в каком положении дело, и если Антонина Васильевна заподозрена – не щадить себя… Подробности следствия я узнал здесь, без всяких затруднений, от Прокофьича, которого я вызвал из дома через дворника… Я сказал ему, что о происшествии я узнал из газет и по этому случаю я приехал в Петербург…

10

Он кончил рассказ. Мне вдруг стало досадно на него. Антипатия моя к нему как-то возросла еще, и я спросил его голосом, в котором он не мог не слышать раздражения – раздражения не следователя, а человека, преданного Антонине Васильевне:

– Так вы это ради нее и убили, и признались?

– Да, для нее. Не будь она заподозрена, я не признался бы.

– Так. Ну, а теперь, как вы думаете, имя ее не будет волочиться в этом преступлении, не бросят в нее грязью?

– Я не понимаю вас. Я скрою все. Тут ее совсем не будет. Она явится только как нежная любящая мать и как невинная страдалица.

– А вы явитесь героем. В глазах некоторых, по крайней мере? – невольно вырвалось у меня.

– А я… – Он вдруг побледнел и замолчал. Мне стало жаль его.

– Размыслите хорошенько. Что вы станете отвечать на вопрос, как вы попали в дом, если вы решились скрыть то обстоятельство, что она застала вас на месте преступления и помогла убраться подобру-поздорову?

– Что? – Он потер себе лоб.

– Вы об этом думали?

– Не знаю… кажется, думал…

– Думали?! Впрочем, это ваше дело. Я попрошу вас изложить письменно ваше показание, покороче. – И я дал ему бумагу и перо.

Он задумчиво стал ходить по комнате, потом сел и стал быстро писать, словно кто подгонял его. «Кто его знает, – подумал я, – что это за субъект? Совершил преступление, не подумав, признался – опять не подумав. Конечно, правосудие выиграло, но эта несчастная? Из-за чего она страдать тут будет? И как подействует на нее это признание? Не будет ли это для нее новым ударом? А там… судебная процедура – передопросы… сценическая выставка…»

– Ради Бога, помогите мне, – раздался надо мною голос Ховского. – Я не знаю, что делать? Как я попал в дом? Выдумать интригу с Люсеваль? Но я в Петербурге не жил, я был прописан пятнадцатого сентября, а шестнадцатого выехал…

Я пожал плечами:

– Вы хотите, чтоб следователь учил вас давать показания?

……

Рукопись судебного следователя кончается на этом вопросе; дальнейшего хода дела мы не знаем. Но в конце рукописи приписано другою рукою следующее:

«Безбожное дело это ничем не кончилось, потому что преступник очень ловко улизнул неизвестно куда, должно быть в Америку, где его искать никто не будет. Как мне доподлинно известно, Ховский убежал с деньгами, которые ему доставила мачеха его, ныне инокиня Агапия. Что касается судебного следователя, то он умер в холеру 1866 г. и погребен на Волковом кладбище. Человек он был хороший, бескорыстный, но слабый. Было у него слишком много того, что называется “чувством”, а судебному следователю этого не полагается».

Рассказ судебного следователя

1

Кажется, никакое общественное происшествие не могло наделать такого говора и шума в нашем губернском городе, как частная размолвка местного богача, полуаристократа, отставного гусарского штаб-ротмистра Пыльнева с женою… Об этом происшествии толковали все от старого до малого, в гостиной губернатора и в грязной харчевне; им интересовались все кружки и слои общества, так что нельзя было показать носа на улицу без того, чтоб не услышать о нем разговора.

– Изволите-с знать, – спросил нас в лавочке приказчик, заворачивая покупку, – Аркадий Иваныч Пыльнев с своею супругою разошлись? Укатила в столицу-с, подхватив с собою-с молодчика… Хе-хе-хе…

– А что, не говорил я вам? – кричал на главной улице начальник местной внутренней стражи, подполковник Солонинин, непомерный толстяк, с глазами, готовыми тотчас выскочить из орбит, останавливая скромную и робкую фигуру молодого врача, недавно прибывшего из университетского города на практику. – Не говорил ли я вам, что рано или поздно, а дело непременно так кончится?

– Что же такое? – вопросил, недоумевая, врач.

– Как что такое? Да разве вы не знаете: ведь Настасья-то Павловна, жена Пыльнева, от мужа-то убежала! Ха-ха-ха! Да еще и не одна, а со студентом… Ну-с, – продолжал подполковник, самодовольно покачиваясь, – будете ли вы еще спорить со мною? Что же вы теперь не проповедуете про эмансипацию женщин? Сделайте милость, послушаем…

Подобные разговоры шли по всему городу. Но всего было страннее то, что все говорили с каким-то явным удовольствием и видимым злорадством, как будто Настасья Павловна всем и каждому крайне насолила. А между тем она почти не была ни с кем знакома. Семейная драма Пыльневых не возбудила ни в ком ни сердечного участия, ни сочувствия. Большинство их знакомых восклицало с энергическими жестами: «Э! Ну, что там… Помилуйте… Справедливо говорится: “Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит”, “Повадился кувшин по воду ходить, придется ему там и голову сложить”» и т. п. Даже юные губернские либералы и прогрессисты, всегда вступающиеся за женщин, чтоб блеснуть современным взглядом и высказать две-три новых идейки, почерпнутые из толстого столичного журнала, были как бы против Пыльневой. «Много значит, – замечали они, – среда, в которой жила прежде Пыльнева, воспитание, которое она получила, привычки, которые пустили глубокие корни: вырвать их не в состоянии никакие человеческие усилия…»

За Настасью Павловну вступился было только один человек, тот самый врач, которого на улице остановил подполковник Солонинин.

– Господа, – сказал он, услышав, что, после разлуки с мужем, за Пыльневой приобрели право гражданства эпитеты «развратная» и «погибшая», – кто же дал вам право обижать несчастную женщину? Что за дар у вас предвидения? Почем вы знаете, что она станет такою? Может быть, разошедшись с Пыльневым, она будет другому прекрасной женой, вполне преданной и честной. Неужели вы думаете, что в столице она не может найти себе какого-нибудь труда?

– На какой же такой она способна? – противоречил кто-то. – Кроме шитья, она ничего не умеет.

– А это разве не труд? А выучиться чему другому она не может? Вы в этом уверены? Позвольте данные?

При таких возражениях многие либералы и прогрессисты становились в тупик. Но торжество юного врача было недолго: ездившие по своим надобностям в Петербург чиновник особых поручений у губернатора, сын городского головы и содержатель лучшего в городе кафе-ресторана, возвратившись, привезли известие о Пыльневой, что видели ее несколько раз, в сопровождении многих молодых людей и пьющей пиво, на танцевальных вечерах у Марцинкевича и в «Эльдорадо»…

Что касается до самого Аркадия Ивановича Пыльнева, то, расставшись с своею женою, он свел близкое знакомство с театральной примадонной, поселившейся у него в доме и принявшей титул его гражданской жены, завел новых кровных рысаков и вообще предался разного рода кутежам и развлечениям. Однако близко его знающие и домашняя прислуга замечали, что Пыльнев стал ненатурален и странен, что веселость его и разгул какие-то напускные…

2

Еще в губернском городе не успела затихнуть молва о поведении Пыльневой, как в Петербурге, на Валдайской улице, в местности, называющейся Семеновский полк, случилось следующее печальное происшествие.

Было часов девять обыкновенного прозаическо-петербургского ноябрьского утра, т. е. стоял туман, небольшая гололедица и сыпал мелкий не то снег, не то дождь. Улица Валдайская немноголюдна. По дощатым тротуарам кое-где торопливо пробирались, съежившись от холода и сырости, пешеходы, проехал без седока легковой извозчик, да мальчишка, с мешком на плечах, вглядывался в отворенные ворота, намереваясь зайти во двор и огласить его возгласами: «Бутылок – ба-анок! Костей – тря-апок!»

Вдруг обыденная физиономия Валдайской улицы приняла выражение крайнего любопытства: из ворот дома № 36, стоящего посредине улицы, выбежал дворник, средних лет мужчина, в небольшой русой бородке, в полосатой шерстяной рубахе и белом переднике, с сильно испуганным лицом, и закричал, напрягши все силы своего голоса:

– Городово-ой! Городовой!

Прохожие оглянулись на него с удивлением, умерили свои шаги, а некоторые, желавшие узнать причину такого крика, и совсем остановились. Городового же поблизости нигде не было видно. Дворник повторил свой зов еще несколько раз и, не получив ответа, бросился бежать на угол пересекавшего улицу проспекта. Тут он повторил зов еще громче, и вскоре из виноторговли показался блюститель порядка, с бляхой и полусаблей.

– Чего орешь? – откликнулось красное суровое солдатское лицо, с щетинистыми усами.

– Бога ради, пожалуйте, дядюшка, поскорее к нам: у нас в доме неблагополучно: жиличку кто-то удушил ночью! – проговорил растерянно и торопливо дворник.

– Как так?

– Не могим знать-с… Вот пожалуйте, сами увидите… В участок, что ли, надо оповестить?

– Беспримерно в участок…

Кончив рапорт, дворник крупной рысью побежал обратно к своему дому, у которого уже собралась целая толпа, Бог весть откуда набравшаяся, состоявшая наполовину из детей, уличных ребятишек, мальчиков и девочек, больших охотников до всяких зрелищ. Вслед за ним, хотя немного и медленнее, припустил и городовой, подобрав полусаблю и на ходу ворча сквозь зубы: «Ну ж жизнь! Проклятая! Спокою никакого нет! За эту одну неделю три оказии: там повесилась, там зарезался, здесь задушили… Где бы жить себе поспокойнее, а они только тревожат нашего брата!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.